

**ФИЛОЛОГИЯ
И
ЧЕЛОВЕК**

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Выходит четыре раза в год

№1

2008



Барнаул

Издательство Алтайского
государственного университета
2008

Учредители

Алтайский государственный университет
Барнаулский государственный педагогический университет
Бийский педагогический государственный университет
имени В.М. Шукшина
Горно-Алтайский государственный университет

Редакционный совет

О.В. Александрова (Москва), К.В. Анисимов (Красноярск), Л.О. Бутакова (Омск), Т.Д. Венедиктова (Москва), Н.Л. Галеева (Тверь), Л.М. Геллер (Швейцария, Лозанна), О.М. Гончарова (Санкт-Петербург), Т.М. Григорьева (Красноярск), Е.Г. Елина (Саратов), Л.И. Журова (Новосибирск), Г.С. Зайцева (Нижний Новгород), Е.Ю. Иванова (Санкт-Петербург), Ю. Левинг (Канада, Галифакс), П.А. Лекант (Москва), Н.Е. Меднис (Новосибирск), О.Т. Молчанова (Польша, Щецин), В.П. Никишаева (Бийск), В.А. Пищальникова (Москва), О.Г. Ревзина (Москва), В.К. Сигов (Москва), И.В. Силантьев (Новосибирск), Ф.М. Хисамова (Казань)

Главный редактор

А.А. Чувакин

Редакционная коллегия

Н.А. Гузь (зам. главного редактора по литературоведению и фольклористике), С.А. Добричев, Н.М. Киндилова, Л.А. Козлова (зам. главного редактора по лингвистике), Г.П. Козубовская, А.И. Куляпин, В.Д. Мансурова, И.В. Рогозина, А.Т. Тыбыкова, Л.И. Шелепова, М.Г. Шкуропацкая

Секретариат

О.А. Ковалев – отв. секретарь по литературоведению
Н.В. Панченко – отв. секретарь по лингвистике
М.П. Чочкина – отв. секретарь по фольклористике

Адрес редакции: 656049 г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, Алтайский государственный университет, филологический факультет, оф. 411-а.
Тел./Факс: 8 (3852) 366384. E-mail: soveto1@filo.asu.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Статьи

Э.В. Будаев, А.П. Чудинов. Становление и эволюция лингвистической советологии	7
Л.О. Бутакова, Н.Ю. Миронова. Автор-текст-реципиент: тексты СМИ в аспекте рецепции авторами. Часть I	19
Е.Н. Матвеева. Эстетическая функция графических средств в поэзии (на материале лирики Игоря Северянина)	29
О.А. Алимуратов. Кластерная теория референции и семантика имен: краткие заметки на полях.....	42
А.А. Градинарова. Безличные предложения: отражение национального менталитета?.....	50
В.Т. Плахин. «Служили два товарища...» (опыт сравнения рекламы и тоталитарного искусства). Часть II	62
Н.И. Клешина. Стихотворение «Глаголы» как поэтическая программа И. Бродского	72
Н.В. Панченко. «Власть референции» в процессе композиционного построения художественного текста (на материале современной художественной прозы)	85
Н.М. Киндикова. Алтайцы в контексте истории (этнокультурологический аспект)	97

Научные сообщения

И.В. Рогозина, О.В. Карнаухова. Ювенальный медиатекст: психолингвистический аспект	104
О.Н. Гетта. Человек в воздействующих приемах газетных текстов (на материале приемов фактуального воздействия в русскоязычной и англоязычной прессе).....	110

М.А. Пьянзина. Природа дискурса в «Освобождении Толстого»	118
К.В. Климов. Сапоги и лохмотья: символика одежды в «Педагогической поэме» А.С. Макаренко	125
Л.А. Позднякова. Сны и сновидения в художественном мире А. Гайдара	132
Д.В. Мызников. Система персонажей как значимый элемент структуры повести К. Паустовского «Кара-Бугаз»	139
К.Б. Самтакова. Сравнительный анализ топонимики монгольского и южного Алтая в историко-лингвистическом аспекте	146

Филология: люди, факты, события

В.А. Чеснокова, Л.И. Шелепова. «Язык, литература и культура в региональном пространстве» III Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти профессора И.А. Воробьевой (Барнаул, 4–5 октября 2007 г.).....	153
---	-----

Критика и библиография

М.Г. Шкуропацкая. <i>В.А. Каменева.</i> Лингвокогнитивные средства выражения идеологической природы публицистического дискурса (на материале американской прессы): Монография. – Новокузнецк: Редакционно-издательский отдел Куз ГПА, 2006. – 236 с.	156
--	-----

Филология в современном мире: ответы на вопросы анкеты..... 160

Резюме на английском языке..... 164

Наши авторы 167

CONTENTS

Articles

E.V. Budaev, A.P. Chudinov. Genesis and Evolution of Linguistic Sovietology.....	7
L.O. Butakova, N.J. Mironova. Author-Text-Recipient: Media-Text in Authors' Perception Aspect. Part I	19
E.N. Matveeva. Aesthetic Function of Graphic Means in Poetry (in Igor Severyanin's Lyric Poetry).....	29
O.A. Alimuradov. Cluster Reference Theory and Semantics of Names: Marginal Notes.....	42
A.A. Gradinarova. Impersonal Sentences: Reflection of National Mentality?.....	50
V.T. Plakhin. Modern Advertising and Socialist Realism: Being Brothers in Arms. Part II	62
N.I. Kleshnina. Poem «The Verbs» as Brodsky's Poetic Programme.....	72
N.V. Panchenko. «Reference Power» in Compositional Structure of Belles-lettres Text (in Modern Fiction).....	85
N.M. Kindikova. Altai Ethnoses in Historical Context (Ethnocultural Aspect).....	97

Scientific reports

I.V. Rogozina, O.V. Karnaukhova. Juvenile Media-Text: Psycholinguistic Aspect	104
O.N. Getta. Human Being in Perlocutive Function of Newspaper Texts (Factual Influence in Russian and English Articles).....	110

M.A. Pyanzina. Substance of Discourse in «Tolstoy’s Liberation»	118
K.V. Klimov. Footwear and Rags: Clothing Symbolics in «Pedagogical Poem» by A.S. Makarenko.....	125
L.A. Pozdnyakova. Sleep and Dreams in A. Gaydar’s Artistic Works	132
D.V. Myznikov. System of Characters as Significant Structural Element of K. Paustovsky’s Story «Kara-Bugaz»	139
K.B. Samtakova. Comparative Analysis of Mongolian Altai and Southern Toponymy in Historical Linguistic Aspect	146

Philology: people, facts, events

V.A. Chesnokova, L.I. Shelepova. «Language, Literature and Culture in Regional Space» III International Practical Scientific Conference in Memory of Professor I.A. Vorobyova (Barnaul, 4–5 October 2007)	153
---	-----

Critics and bibliography

M.G. Shkuropatskaya. <i>В.А. Каменева.</i> Лингвокогнитивные средства выражения идеологической природы публицистического дискурса (на материале американской прессы): Монография. – Новокузнецк, 2006.	156
---	-----

Philology in modern world: questionnaire answers	160
---	------------

Summary.....	164
---------------------	------------

Our authors	167
--------------------------	------------

СТАТЬИ

СТАНОВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТОЛОГИИ

Э.В. Будаев, А.П. Чудинов

Термин «советология» получил широкое распространение в зарубежной историографии в 1960-е гг. в качестве обозначения научного направления, посвященного изучению политики, экономики, культуры, науки и иных сторон жизни Советского Союза. По мере накопления исследований и дифференциации научных интересов появились политическая, экономическая, социологическая и иные виды советологии. Несмотря на позднее «терминологическое оформление» этих исследований под наименованием «советология», точкой отсчета для этого направления стало возникновение на политической карте мира Советской России и СССР, потому что первые советологические исследования появляются одновременно с возникновением советского общества.

В комплексе советологических наук важное место занимает лингвистическая советология, предметом исследования которой служат языковая политика в СССР, особенности советского тоталитарного дискурса, функционирование, взаимодействие и эволюция языков народов Советского Союза. Представляется возможным говорить о трех этапах существования лингвистической советологии. Первый – этап становления – относится к периоду с 20-х гг. до конца второй мировой войны. Особенности этого периода связаны с тем, что практически одновременно создавались и политическая лингвистика, и политическая советология, а левые идеи были весьма популярны в США и Великобритании. Следующий этап приходится на период холодной войны и последующей разрядки, когда идеологическое противостояние было максималь-

но обостренным (до середины 80-х). Третий этап относится к периоду перестройки и демонтажа советской системы, когда политические разногласия обострились уже внутри советской страны, а зарубежные консультанты все чаще начали выступать как эксперты по вопросам строительства новой политической системы в России.

В Советском Союзе долгие годы считалось, что советология основана на клевете на социалистическое государство, а советологи – малограмотные лжецы, клеветники и агенты вражеской разведки, изначально ненавидящие все русское и советское. Разумеется, среди советологов было немало людей, ослепленных ненавистью или сознательно зарабатывающих себе на жизнь заказными разоблачениями и страшилками. Вместе с тем среди советологов были и талантливые ученые, которые стремились к объективности и смогли зафиксировать то, что оставалось скрытым для политически ангажированных авторов по обе стороны границы. Именно такие исследователи и заслуживают подлинной благодарности потомков. Следует, однако, подчеркнуть, что при обращении к публикациям западных специалистов практически всегда можно «вычислить» политическую пристрастность / беспристрастность авторов, которая в одних случаях проявляется в непосредственных обвинениях и оценках, а в других – характеризуется исследованием своего объекта с помощью объективных научных методов, используемых в целом в гуманитарных науках.

К числу основоположников лингвистической советологии и политической коммуникативистики в целом справедливо относят Уолтера Липпманна (1889–1974), который в годы Первой мировой войны писал пропагандистские листовки для армии союзников во Франции, а затем занялся изучением проблемы эффективности политической агитации и пропаганды. Многие его идеи уже давно воспринимаются как аксиомы и прописные истины; соответствующие исследования стали своего рода базой для формирования понятийно-терминологического аппарата политической лингвистики. Например, в современной науке активно используется предложенное У. Липпманном понятие «процесса определения повестки дня» (*agenda-setting process*), то есть высвечивания в политической коммуникации одних вопросов и замалчивания других. Ученый разграничил такие явления, как реальная актуальность той или иной проблемы и ее «значимость» в восприятии общества, а также охарактеризовал определение повестки дня как важный прием манипулирования политическим сознанием.

У. Липпманн разработал эффективную методику применения контент-анализа как инструмента для исследования общественных

представлений о политической картине мира. В частности, еще в 1920 году У. Липпманн совместно с Ч. Мерцем опубликовали исследование корпуса текстов газеты «The New York Times», которые были посвящены Октябрьской революции 1917 года. Анализ показал, что среднему американцу невозможно было составить сколько-нибудь объективного мнения о происходящих событиях ввиду антибольшевистской предвзятости публикуемых текстов [Lippmann, Merz 1920].

Теоретические выводы У. Липпманн совмещал с практической политической деятельностью и оказывал влияние на принятие решений на самом высоком уровне. Так, будучи советником президента В. Вильсона, исследователь участвовал в составлении знаменитых «14 тезисов», в корне изменивших внешнеполитический курс США.

Среди ведущих американских советологов называют также профессора Гарольда Лассвелла (1902–1978), которому принадлежит заслуга значительного развития методики контент-анализа и ее эффективного применения к изучению языка политики. С помощью контент-анализа Г. Лассвеллу удалось продемонстрировать связь между стилем политического языка и политическим режимом, в котором этот язык используется. По мнению исследователя, дискурс политиков-демократов очень близок дискурсу избирателей, к которым они обращаются, в то время как недемократические элиты стремятся к превосходству и дистанцированию от рядовых членов общества, что неизбежно находит отражение в стилистических особенностях языка власти. Языковые инновации предшествуют общественным преобразованиям, поэтому изменения в стиле политического языка служат индикатором приближающейся демократизации общества или кризиса демократии. Использование этой методики позволило сделать вывод о том, что политический язык советской элиты на протяжении двадцатых-сороковых годов все дальше и дальше уходил от демократических традиций.

После Второй мировой войны отношения Советского Союза со странами Западной Европы и США резко изменились. На смену военному союзу объединенных наций пришли холодная война, железный занавес, равновесие страха и охота на ведьм. В 1949 году была опубликована коллективная монография «Язык власти: Исследования по количественной семантике» [Language of Power 1949], значительная часть которой была посвящена политической коммуникации в Советском Союзе. Г. Лассвелл, Н. Лейтес, С. Якобсон и другие исследователи на основе анализа коммуникативной практики коммунистов и иного подобного речевого материала выявляли различные взаимозависимости между

семантикой языковых единиц, их частотностью и политическими процессами. Так, в совместном исследовании Сержа Якобсона и Гарольда Лассвелла «Первомайские призывы в Советской России (1918–1943)» было выделено 11 категорий ключевых символов (обозначение «своих» и «чужих», использование национальной и интернациональной символики, обращение к внутренней и внешней политике и др.), а затем проведено исследование их частотности на различных этапах развития СССР. Авторы показывают, что такое исследование позволяет лучше понять динамические процессы в господствующей идеологии и нюансы советской политики.

По мере того как военное сотрудничество между СССР и странами Запада переросло в холодную войну, зарубежные исследователи стали обращать самое пристальное внимание на внутри- и внешнеполитические средства советской пропаганды. В это время появляется одна из первых крупных работ по советской политической коммуникации – книга Алекса Инкелеса «Public Opinion in Soviet Russia: A Study in Mass Persuasion» («Общественное мнение в Советской России: Исследование массового убеждения») [Inkeles 1950]. Помимо рассмотрения советской информационной политики, она содержала анализ интервью с бывшими гражданами СССР. А. Инкелес пришел к выводу об «абсолютном» контроле СМИ советскими властями. Вместе с тем автор резюмировал, что «система советской коммуникации далека от того, чтобы обеспечивать тотальное убеждение населения, ее эффективность гораздо ниже того уровня, которого советские лидеры хотели бы достигнуть» [Inkeles 1950, p. 319].

Продолжением исследований А. Инкелеса стала книга Д. Холландера «Soviet Political Indoctrination: Developments in Mass Media and Propaganda Since Stalin» («Советское политическое внушение: изменения в СМИ и пропаганде со времен Сталина») [Hollander 1972]. Автор констатировал, что на смену сталинской системе тотального контроля над массами пришла более гибкая и свободная система управления общественным сознанием, которая характеризуется относительно благоприятными возможностями для диалога и выражения различных точек зрения, в том числе и в официальных СМИ. Вместе с тем исследователи отмечали, что даже в период оттепели советские СМИ во многом придерживались традиций пропаганды, сложившихся при Сталине [Keskemeti 1956].

Среди публикаций, авторы которых максимально полно демонстрируют неприятие советской власти и всего, что с ней связано (в том

числе и изменений в русском языке), особой непримиримостью выделяется книга Андрея и Татьяны Фесенко «Русский язык при советах», изданная в Нью-Йорке [Фесенко А., Фесенко Т. 1955]. Один из основных факторов, формирующих советский дискурс, по мнению авторов, заключается в следующем: «Неприглядность советской жизни, расхождение многообещающей пропаганды и невеселой, подчас трагической действительности вызвали у властей необходимость в словесном одурманивании, правда, часто разоблачавшемся в народе. Самолюбование и самовосхваление являются ширмой, прикрывающей безотрадное существование советских республик, за которыми установились восторженные эпитеты: цветущая Украина, солнечная Грузия и т.п.» [Фесенко А., Фесенко Т. 1955, с. 30]. Вместе с тем в рассматриваемой книге можно обнаружить весьма интересный обзор публикаций (особенно созданных вне Советского Союза) и немало конкретных замечаний об экспансии заимствований, а также просторечных, жаргонных и диалектных слов, о неумеренном использовании сложносокращенных слов и необоснованном отказе от множества традиционных для русского языка лексических единиц.

Отдельное внимание исследователей было направлено на изучение прагматики советской политической коммуникации: эффективности советской политической пропаганды, лингвистических и концептуальных средств убеждения, используемых в советских СМИ [Lendvai 1981; Mickiewicz 1981; White 1980 и др.].

Политическая лингвистика часто оказывается значительно более инертной, чем живая политическая история. М.С. Горбачев уже был избран лидером советских коммунистов, а многие советологи продолжали свои прежние исследования советского политического языка. Их изыскания варьируются от изучения общественно-политической терминологии [Bruchis 1988] и исследования коммунистических нарративов [Bourmeyster 1988] до детального анализа новостной политики в конкретных советских СМИ [Roxburgh 1987] и структуры сигнификации в обращениях генеральных секретарей КПСС [Urban 1987]. Но новая политическая ситуация и нарастающий общественный интерес к происходящим в Советском Союзе изменениям все настойчивее требовали принципиально новых подходов к изучению советской политической коммуникации.

Отношения между Советским Союзом и западными странами резко изменились в середине 80-х гг., что в значительной степени обусловило наступление нового этапа в развитии как общей, так и лингвистиче-

ской советологии. В новых условиях все чаще появляются исследования явлений, связанных с новыми политическими процессами. В этот период американские и западноевропейские специалисты по советской политической коммуникации все чаще выступают в зарубежных изданиях в качестве экспертов по новым процессам в советской (и российской) политической коммуникации. Эти же специалисты нередко выступают в советских СМИ как своего рода консультанты по демократизации языка и общества в целом.

Наибольшее внимание в середине и конце 80-х годов привлекает дискурс М.С. Горбачева и формирующийся дискурс перестройки [Benn 1987; Downing 1988; Goban-Klas 1989; McNair 1989; Urban 1988; Woodruff 1989]. На фоне особого внимания к социально-политическим процессам, проходящим в СССР, возникла потребность в исследованиях, позволяющих объяснить дискурсивные новообразования в советской политической коммуникации. Активно используемая в период перестройки политическая лексика нередко сбивала с толку западного читателя. Так, в СССР *консерваторами* называли коммунистов, в то время как на Западе консерваторы были традиционными противниками коммунизма. В СССР словосочетание *черный рынок* содержало мелиоративные коннотации, потому что черный рынок был единственным эффективно действующим экономическим механизмом, основывающимся на законе спроса и предложения. Специалисты отмечали, что слова *российский* (*Russian*) и *советский* (*Soviet*), традиционно воспринимаемые на Западе как синонимы, уже не являлись взаимозаменяемыми и нередко употреблялись в СССР для выражения антитезы между приверженцами советского режима и сторонниками демократических перспектив развития страны.

Интерес к дискурсу перестройки сохранился и в последующие десятилетия [DeLuca 1998; Erol 1993; Gibbs 1999; Mossman 1991; Walker 2003]. Так, в монографии профессора калифорнийского университета в Беркли Э. Уолкера [Walker 2003] были рассмотрены семантические трансформации ключевых символов советского политического дискурса в период перестройки: «суверенитет», «союз», «федерация», «конфедерация», «независимость». По мнению автора, активное употребление этих понятий привело к неожиданным для идеологов нового мышления результатам, потому что под одну и ту же форму выражения подводились различные и даже противоположные смыслы. Например, центральным партийным руководством «независимость» понималась как новое и привлекательное название для автономности, тогда как де-

мократические (а также сепаратистские и националистические силы в союзных и автономных республиках) понимали независимость как подлинное самоопределение. Подобные «коммуникативные недоразумения» сыграли существенную роль в дезинтеграционных процессах и становлении постсоветских государств.

А.Р. ДеЛюка [DeLuca 1998] проследил, как риторика М.С. Горбачева влияла на внутривнутриполитическую ситуацию в СССР и взаимоотношения Советского Союза с остальным миром. Автор последовательно демонстрирует, что новый политический и медийный дискурс, пропаганда политических символов *перестройки*, *гласности* и *нового мышления* меняли общественное мнение и привели не к реформированию, а к развалу системы.

Многие западные исследователи сходятся во мнении, что, изменяя советский политический дискурс, М.С. Горбачев надеялся ослабить тоталитарную дискурсивную практику, но не подозревал (или не до конца осознавал), что изменение краеугольных для политического дискурса концептов приведет к фундаментальному преобразованию самой действительности.

Не меньший интерес среди советологов вызвали проблемы функционирования политического языка начала 90-х годов, в период последнего кризиса советской государственности [Belin 2002; Downing 2002; Dunn 1999; Urban 1993]. Исчезновение Советского Союза несколько не уменьшило интерес ученых к советскому политическому дискурсу. Более того, для советологов открылись новые перспективы. Демократические преобразования на постсоветском пространстве позволили объединить усилия отечественных и зарубежных специалистов, что привело к появлению совместных исследований (см. коллективную монографию: [Political Discourse 1998]). В последнее время все чаще появляются переводы зарубежных исследований советского политического дискурса на русский язык [Лассвелл, Якобсон 2007; Лейтес 2007; Серио 2002 и др.].

Среди других особенностей современной советологии следует отметить возросший интерес к сопоставительному анализу. В частности, были проведены исследования советского политического дискурса переходного периода в сравнении с политической коммуникацией других стран, в которых протекали схожие политические процессы [Downing 1996; Jones 2002; Political Discourse 1998]. Появились исследования, посвященные диахроническому сопоставлению. Так, М. Дьюирст предпринял попытку сопоставить цензурные ограничения в дискурсе советских и российских СМИ 1991 и 2001 гг. [Dewhirst 2002],

Дж. Терпин сопоставила содержание советских СМИ при Л.И. Брежнев и М.С. Горбачеве [Turpin 1995], а в монографии Дж. Меррея проанализирован медийный дискурс от эпохи Л.И. Брежнева до президентства Б.Н. Ельцина [Murray 1994].

Отдельного внимания заслуживает многоаспектная исследовательская программа Р.Д. Андерсона, направленная на сопоставление тоталитарного советского и демократического российского дискурсов. Основываясь на идеях, высказанных Г. Лассвеллом, Р.Д. Андерсон предпринял попытку найти практическое обоснование положению о том, что процесс коммуникации служит индикатором, позволяющим определить, разделено ли общество на управляющих и управляемых, или представляет собой единое гражданское общество, в котором избиратели поддерживают тех или иных претендентов на власть. Излагая дискурсивную теорию демократизации [Anderson 2001a], исследователь пишет о том, что истоки демократических преобразований в обществе следует искать в дискурсивных инновациях, а не в изменении социальных или экономических условий. По Р.Д. Андерсону, при смене авторитарного дискурса власти демократическим дискурсом в массовом сознании разрушается представление о кастовом единстве политиков и их «отделенности» от народа. Дискурс новой политической элиты элиминирует характерное для авторитарного дискурса наделение власти положительными признаками, сближается с «языком народа», но проявляет значительную вариативность, отражающую вариативность политических идей в демократическом обществе. Всякий текст (демократический или авторитарный) обладает информативным и «соотносительным» значением. Когда люди воспринимают тексты политической элиты, они не только узнают о том, что политики хотят им сообщить о мире, но и о том, как элита соотносит себя с народом (включает себя в социальную общность с населением или отдаляется от народа).

Для подтверждения своей теории Р.Д. Андерсон обращается к сопоставительному анализу советско-российских политических метафор [Anderson 2001b; 2005]. Материалом для анализа послужили тексты политических выступлений членов Политбюро 1966–1985 годов (авторитарный период), выступления членов Политбюро в год первых общенародных выборов (1989 г.) (переходный период) и тексты, принадлежащие известным политикам различной политической ориентации периода 1991–1993 годов (демократический период).

Другим направлением исследовательской программы Р.Д. Андерсона стали психолингвистические исследования, в ходе которых ана-

лизировалась способность рядовых российских граждан видеть различия между разнохарактерными политическими текстами. К примеру, в одном из исследований изучались реакции россиян на текст политического выступления, относящегося к одному из трех этапов коммунистической эпохи, или текст постсоветского периода, который предъявлялся случайно отобранному жителю Москвы, Воронежа и Пскова. Тексты постсоветского периода принадлежали или «демократам» и центристам, или националистам. В каждом городе респонденты легко определяли принадлежность текста постсоветского периода к одному из двух типов, в то время как с определением текста коммунистического периода возникали трудности [Anderson 1997]. Эксперимент показал, что одно из различий между демократическим и авторитарным дискурсами состоит в способности граждан дифференцировать языковые особенности политических лидеров.

В круг интересов современных советологов входит не только политический дискурс в СССР, но и средства манипуляции общественным сознанием при формировании образа СССР в политическом дискурсе других стран. Так, Р. Айви продемонстрировал, что в период холодной войны в США регулярно использовался эффект размывания границы между буквальными и метафорическими выражениями. Как пишет исследователь, в американском политическом дискурсе сложилась такая ситуация, при которой «мы перестаем говорить об одной сущности в понятиях другой сущности и начинаем воспринимать различные понятия (например, “дикарь” и “советский человек”) как одно целое... Мы руководствуемся фигуральными выражениями, но действуем так, как будто они буквальны, не понимая, что две различные смысловые сферы сплелись в единое целое» [Ivie 1997, p. 72]. Подобное исследование провел Дж. Беккер, но предметом его анализа стал образ США в советской и российской прессе [Becker 2002]. Сопоставление исследований советского дискурса и публикаций по изучению образа СССР в западных государствах показывает, что некоторые явления, традиционно приписываемые тоталитарному дискурсу, были характерны и для формирования образа врага в политической коммуникации демократических стран. Чрезвычайно далеко от реальности навязываемое противопоставление благородных героев, распространяющих правду и воспевающих идеалы свободы, гнусным лжецам, которые заботятся только о собственной выгоде. В условиях острой политической борьбы невозможно было всегда оставаться правдивыми и объективными, и это относится к практикам политической коммуникации, находящимся как по одну, так и по другую сторону идеологических баррикад.

Исследования коммуникативной практики в официальном политическом дискурсе Советского Союза продолжают до настоящего времени. Специалисты выделили характерные черты тоталитарного дискурса, которому, как правило, свойственны централизация пропагандистской деятельности, претензии на абсолютную истину, идеологизация всех сторон жизни, лозунговость и пристрастие к заклинаниям. Среди признаков тоталитаризма выделяют также ритуальность политической коммуникации, превалирование монолога «вождей» над диалогичными формами коммуникации, пропагандистский триумфализм, резкую дифференциацию СВОИХ и ЧУЖИХ, пропаганду простых и в то же время крайне эффективных путей решения проблем. Сюда же следует отнести кардинальные различия между дискурсом господствующей партии и дискурсом оппозиции, существование наряду с официальным дискурсом (новоязом) еще и «языкового сопротивления», «антилитературного дискурса».

Вместе с тем можно заметить, что большинство зарубежных «советологов» оказались не в силах обнаружить какие-либо достоинства в советском политическом языке. Читая подобные исследования, иногда невозможно понять, почему коммунистическая пропаганда добилась столь впечатляющих успехов во всем мире, чем можно объяснить чрезвычайную прагматическую эффективность советской политической коммуникации. Враждебность к коммунистической идеологии у некоторых советологов оборачивалась неприятием и острой критикой едва ли не всех аспектов соответствующей политической коммуникации и даже собственно языковых инноваций. Выступая в Колумбийском университете 26 сентября 2003 года, президент России В.В. Путин призвал упразднить «советологию», поскольку «СССР уже нет, а советология до сих пор существует». Очевидно, что президент имел в виду только такую науку, которая была чрезмерно политизирована и служила «инструментом, чтобы нанести друг другу как можно больше ударов, укулов и всяческого вреда» (см. официальный сайт Президента России [www.kremlin.ru]).

Остается надеяться, что в будущем как российские, так и зарубежные исследователи советского политического дискурса смогут объединить усилия и дать объективную характеристику лингвистических причин успехов и поражений советской пропаганды. По-прежнему остается актуальной задача разграничения общих закономерностей политической коммуникации, специфики тоталитарного дискурса и особенностей политической коммуникации в Советском Союзе. Но это будет уже совершенно новый этап развития политической лингвистики.

Литература

- Андерсон Р.Д. Каузальная сила политической метафоры // Будаев Э.В., Чудинов А.П. Современная политическая лингвистика. – Екатеринбург, 2006.
- Лассвелл Г., Якобсон С. Первомайские лозунги в Советской России (1918–1943) // Политическая лингвистика. – 2007. – №1 (21).
- Лейтес Н. Третий Интернационал об изменениях политического курса // Политическая лингвистика. – 2007. – №1 (21).
- Путин В. Выступление в Колумбийском университете 26.09.2003 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru>.
- Серио П. Русский язык и анализ советского политического дискурса: анализ номинализаций // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. – М., 2002.
- Фесенко А., Фесенко Т. Русский язык при советах. – Нью-Йорк, 1955.
- Чудинов А.П. Политическая лингвистика. – М., 2006.
- Anderson R.D. 'Look at All Those Nouns in a Row': Authoritarianism, Democracy, and the Iconicity of Political Russian // Political Communication. – 1996. – Vol. 13. – №2.
- Anderson R.D. Speech and Democracy in Russia: Responses to Political Texts in Three Russian Cities // British Journal of Political Science. – 1997. – Vol. 27.
- Anderson R.D. The Discursive Origins of Russian Democratic Politics // Postcommunism and the Theory of Democracy. – Princeton: Princeton University Press, 2001a.
- Anderson R.D. Metaphors of Dictatorship and Democracy: Change in the Russian Political Lexicon and the Transformation of Russian Politics // Slavic Review. – 2001b.
- Anderson R.D. The Causal Power of Metaphor: Cueing Democratic Identities in Russia and Beyond // Metaphorical World Politics: Rhetorics of Democracy, War and Globalization – East Lansing: Michigan State University, 2005.
- Belin L.. The Russian Media in the 1990s // Journal of Communist Studies and Transition Policies. – 2002. – Vol. 18. – №1.
- Benn D. Glasnost in the Soviet Media: Liberalization or Public Relations? // Journal of Communist Studies. – 1987. – Vol. 3. – №3.
- Bourmeyster A. Soviet political discourse, narrative program and the Skaz theory // The Soviet Union: Party and Society / Ed. by P. J. Potichnyj. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Bruchis M. The nationality policy of the CPSU and its reflection in Soviet socio-political terminology // The Soviet Union: Party and Society / Ed. by P. J. Potichnyj. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- DeLuca A.R. Politics, Diplomacy, and the Media: Gorbachev's Legacy in the West. Westport; London: Praeger Publishers, 1998.
- Dewhurst M. Censorship in Russia, 1991 and 2001 // Journal of Communist Studies and Transition Policies. – 2002. – Vol. 18. – №1.
- Downing J. Issues for media theory in Russia's transition from dictatorship // Media Development. – 2002. – Vol. 1.
- Downing J. Internationalizing Media Theory. Transition, Power, Culture. Reflections on Media in Russia, Poland and Hungary 1980–95. – London: Sage Publications, 1996.
- Downing J. Trouble in the Backyard: Soviet Media Reporting on the Afghanistan Conflict // Journal of Communication. – 1988. – Vol. 2.
- Dunn J. The Transformation of Russian from a Language of the Soviet Type to a Language of the Western Type // Language and Society in Post-Communist Europe: Selected Papers from the Fifth World Congress of Central and East European Studies, Warsaw, 1995. – Basingstoke: Macmillan Press, 1999.

Erol N. Ideology as political discourse: a case study of print media discourses on Glasnost and Perestroika. – East Lansing: Michigan State University, 1993.

Gibbs J. Gorbachev's Glasnost. The Soviet Media in the First Phase of Perestroika. – College Station: Texas A & M University Press, 1999.

Goban-Klas T. Gorbachev's Glasnost: A Concept in Need of Theory and Research // European Journal of Communication. – 1989. – Vol. 4. – №3.

Hollander D. Soviet Political Indoctrination: Developments in Mass Media and Propaganda Since Stalin. – New York: Praeger Publisher, 1972.

Inkeles A. Public Opinion in Soviet Russia. A Study in Mass Persuasion. – Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1950.

Ivie R.L. Cold War Motives and the Rhetorical Metaphor: A Framework of Criticism // Cold War Rhetoric: Strategy, Metaphor, and Ideology. – East Lansing: Michigan State University Press, 1997.

Jones A. The Press in Transition: A Comparative Study of Nicaragua, South Africa, Jordan, and Russia. – Hamburg: Deutsches Übersee-Institut, 2002.

Kecskemeti P., The Soviet Approach to International Political Communication // The Public Opinion Quarterly. – 1956. – Vol. 20. – №1 (Special Issue on Studies in Political Communication).

Language of Power: Studies in Quantitative Semantics / Ed. by H. D. Lasswell, N. Leites. – New York: George W. Stewart, 1949.

Lendvai P. The Bureaucracy of Truth. How Communist Governments Manage the News. – London: Burnett Books, 1981.

Lippmann W., Merz, Ch. A Test of the News // The New Republic. – 1920. – Vol. 33(2).

Mcnaur B. Glasnost, Restructuring and the Soviet Media. Media, Culture and Society. – 1989. – Vol. 11. – №3.

Mcnaur B. Glasnost, perestroika, and the Soviet media. – London; New York: Routledge, 1991.

Mickiewicz E. Media and the Russian Public. – New York: Praeger, 1981.

Mossman E. Changing Patterns of Russian Political Discourse: A Dictionary of Russian Politics 1985–Present. – Washington: National Council for Soviet and East European Research, 1991.

Murray J. The Russian Press from Brezhnev to Yeltsin. – Aldershot: Edward Elgar, 1994.

Political Discourse in Transition in Europe 1989–1991 / Ed. by P. Chilton, M. V. Ilyin, J. L. Mey. – Amsterdam; Philadelphia, PA: John Benjamins Pub, 1998.

Roxburgh A. Pravda, Inside the Soviet News Machine. – London: Victor Gollancz, 1987.

Schramm W. The Soviet Communist Theory // Four Theories of the Press / Ed. by F. S. Siebert, T. Peterson, W. Schramm. – Urbana: University of Illinois Press, 1956.

Turpin J. Reinventing the Soviet Self. Media and Social Change in the Former Soviet Union. – Westport: Praeger, 1995.

Urban M. Political language and political change in the USSR: notes on the Gorbachev leadership // The Soviet Union: Party and Society / Ed. by P. J. Potichnyj. – Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Urban M., The Russian Free Press in the Transition to a Post-Communist Society. The Journal of Communist Studies. – 1993. – Vol. 9. – №2.

Urban M. The Structure of Signification in the General Secretary's Address: A Semiotic Approach to Soviet Political Discourse // Coexistence. – 1987. – Vol. 24. – №3.

Walker E.W. Dissolution: Sovereignty and the Breakup of the Soviet Union. – Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2003.

White S. The Effectiveness of Political Propaganda in the USSR // Soviet Studies. – 1980. – Vol. 32. – №3.

**АВТОР – ТЕКСТ – РЕЦИПИЕНТ:
ТЕКСТЫ СМИ В АСПЕКТЕ РЕЦЕПЦИИ АВТОРАМИ**

Л.О. Бутакова, Н.Ю. Миронова

Часть I

Современные исследования текстов СМИ, структуры медийного продукта и его воздействующих возможностей актуальны как никогда. При нарастающей активности профессиональных и полупрофессиональных разговоров о манипулировании сознанием адресата средствами массовой информации остается не до конца выясненной сущность феномена медийного воздействия, его силы, характера влияния на реальное сознание, процессов, происходящих в последнем и пр.

Между тем активно разрабатываемое сегодня направление реконструкции языкового сознания имеет ряд исследовательских разновидностей, среди которых не последнее место принадлежит диагностике языкового сознания автора и / или адресата, репрезентированного в текстах СМИ [Бутакова, Дорофеева 2005; Ким 2001; Кормильцына 2003; Ножкина 2003; Рогозина 2004; Сметанина 2002]. При этом общая методологическая база подобных исследований только начинает создаваться. Проблемы формирования структур сознания индивида под влиянием медиа-продукта получили целенаправленную психолингвистическую интерпретацию в трудах психолингвистов-классиков [Леонтьев 2003; Петренко 2005], нашли дальнейшее развитие в фундаментальной работе И.В. Рогозиной [2004], статьях Л.О. Бутаковой и М.Ю. Дорофеевой [Бутакова 2005; Бутакова, Дорофеева 2005]. Выработка гомогенной методологии анализа сознания адресата медийного процесса уже заявлена, но находится в начальной стадии [Чернышова 2005]. Еще меньше внимания уделялось исследованию процессов восприятия медийного текста самим автором. Попутно заметим, что и парадигма языкового сознания, и изучение в ее пределах языкового сознания автора / адресата медиатекста насквозь антропоцентричны, как и вся теория сознания.

Данная статья ориентирована на проблематику психолингвистического изучения феномена сознания индивида и обобщает локальное исследование, выполненное в парадигме рецептивной психолингвистики. Его главной целью является определение эмотивно-смыслового потенциала журналистского текста в психолингвистическом аспекте. Необходимость такого изучения мотивируется значимостью роли СМИ в становлении информационного общества как общества с новой картиной мира.

И.В. Рогозина в своем исследовании доказала, что «трансформация масс-медиа влечет за собой кардинальные изменения способов познания все усложняющегося мира на основе создания *новых комплексных гетерогенных когнитивных структур*, необходимых для освоения стремительно расширяющегося информационного пространства, в результате чего происходит *медиатизация мышления индивидов*, являющаяся неоднозначным и неоднонаправленным процессом» [2004, с. 6].

Феномен медиатизации закономерно интерпретируется ею как когнитивный, то есть такой, который возникает как результат воздействия масс-медийного полисемиотического, полимодального продукта на мышление индивида и выражается в формировании картины мира посредством присвоения индивидом специфически медийных вербально-авербальных когнитивных структур познания и представления реальности [Рогозина 2004, с. 6].

Выявление подобных структур сознания может быть проведено комплексным экспериментальным способом. Подчеркнем, что автор медийных текстов также является носителем подобных структур, поскольку включен в медийное пространство и как создатель текстов, и как реципиент медийных продуктов разного вида (см.: [Бутакова 2005, Бутакова, Дорофеева 2005]). Кроме того, сознание журналиста, как и сознание любого индивида, обладает рядом особенностей, обусловленных этнической, региональной, социальной спецификой. Специфику омских печатных СМИ, ситуацию, сложившуюся в сфере региональной журналистики можно определить следующим образом.

Большинство печатных СМИ (в частности, «АиФ в Омске») в силу социальных, политических и экономических особенностей нашего региона не имеют необходимости выпускать газету чаще, чем раз в неделю. Эту особенность можно связать с отсутствием динамики жизни, которая свойственна столичным городам. Производными являются следующие закономерности: а) кратность чтения прессы, равная одному разу в неделю; б) снижение общего интереса к чтению местных СМИ; в) заполнение редакторами газетного пространства тривиальными материалами, не содержащими актуальной информации (мы не рассматриваем здесь заполнение газетных площадей рекламными текстами, поскольку омские СМИ обычно соблюдают установленное соотношение редакционных и рекламных материалов 60% к 40%).

Штат журналистов омских редакций в 5–6 раз меньше, чем в столицах и городах с более развитой структурой СМИ.

Имеется определенное противоречие: при кажущейся низкой динамике развития печатных СМИ, с одной стороны, и при наличии вузов,

готовящих специалистов в этой области, с другой, ощутил недостаток квалифицированных кадров.

Отметим также отсутствие даже в региональных представительствах федеральных СМИ профессионального подбора кадров, как следствие этого, – отсутствие заметной конкуренции между журналистами и необходимостью сознательного профессионального роста. Редакции газет в свою очередь не стремятся повышать уровень корреспондентов с помощью дополнительных мероприятий, например мастер-классов, стажировок и т.п.

Данные особенности медийного процесса омского региона учитывались нами при проведении исследования рецепции текстов СМИ. Его целью было выявление способов восприятия газетного текста (отчасти – порождения) при интерпретации его автором, а также другими реципиентами.

Была выдвинута следующая гипотеза: *в силу индивидуальной специфики формирования компонентов языкового сознания, а также характера процессов порождения / восприятия речевого произведения* рецепция журналистами их собственных и чужих текстов отличается от интенции, возникшей у автора в процессе создания текста.

В ходе проведения исследования были применены разные методы, среди которых преобладали психолингвистические: ассоциативный эксперимент – для определения восприятия текста, семантический эксперимент, направленный на реконструкцию субъективных семантических пространств, – для выявления причин порождения текста, а также для определения его оценки испытуемым.

Классическая психолингвистическая схема речи прочно связывает порождение и восприятие. Порождение речи в московской психолингвистической школе (в самых общих чертах) включает следующие этапы: мотивационный (возникает общий замысел, тема будущего высказывания), смысловой (структурирование этого замысла, выделение в нем темы и ремы), семантический (распределение семантических ролей – актантов – в составе будущего высказывания) и языковой (выбор синтаксической конструкции и заполнение ее соответствующими словоформами) [Лурия 1998, с. 237–253].

А.А. Леонтьев акцентирует в процессе порождения речи значимость внутреннего программирования высказывания. Причем он обоснованно считает внутреннюю программу зародышем содержательно-ядра будущего высказывания, так как, представляя собой иерархию пропозиций, она связана с его предикативностью и темо-рематическим членением ситуации. В основе внутреннего программирования уче-

ный усматривает образ, имеющий личностный смысл. Развертывание личностного смысла приводит в действие единицы программирования, с которыми говорящий производит операции включения, перечисления и сочленения.

Как и другие исследователи, А.А. Леонтьев выявляет ряд этапов порождения речи и вывода смысла «на поверхность». Так, на этапе грамматико-семантической реализации выделяются подэтапы: тектограмматический (перевод на объективный код), фенограмматический (линейное распределение кодовых единиц), синтаксического прогнозирования (приписывание элементам грамматических характеристик) и синтаксического контроля (соотнесение прогноза с ситуацией).

Вслед за внутренним семантико-грамматическим программированием высказывания происходит его моторное программирование. Затем осуществляется выход речи – реализация. Актуально на каждом этапе действие механизма контроля [Леонтьев 2003, с. 110–122].

Восприятие речи включает эти же этапы в обратном порядке [Леонтьев 2003; Зимняя 1976; Залевская 2005, с. 265–467]. При этом важно, что восприятие это не пассивное копирование воздействия извне, «оно представляет собой живой, творческий процесс познания, интенциональный <...> характер которого дает возможность трактовать его через перцептивные действия сличения воспринимаемых объектов с хранящимися в памяти индивида прежними их отображениями и описаниями для принятия решения об их опознании, то есть об отнесении к некоторому классу объектов (категории), что позволяет характеризовать его как процесс категоризации...» [Залевская 2005, с. 301].

При восприятии речевого сообщения процесс познания направлен на активацию структур сознания, нацеленных на распознавание слов, поиск их значений «в ментальном словаре», принятие решения о смысловом звене высказывания (пропозиции), связях между смысловыми звеньями, обобщении перцептивно-мыслительной работы и переводе на нерасчлененную единицу понимания – общий смысл воспринятого сообщения [Зимняя 1976, с. 32–33]. Именно общий смысл воспринятого сообщения отождествлен А.А. Леонтьевым с внутренней программой речевого высказывания и признан инвариантным (константным) звеном при переводе с одного языка на другой [Леонтьев 2003, с. 134].

Трактовка понимания текста в современной психолингвистике, основанная на описанной схеме понимания высказывания, также ставит слово во главу угла речевой деятельности в любом ее звене. Чрезвычайно важно введенное А.А. Залевской разграничение ВНЕШНЕГО по

отношению к опознаваемому слову, то есть «*ситуативного* контекста» и / или «*текстового* контекста», и «ВНУТРЕННЕГО (*вербального и не вербального, актуально осознаваемого и неосознаваемого*) контекста как сложной системы связей и отношений по линиям перцептивного, когнитивного и аффективного опыта, вне которого слово как единица индивидуального лексикона функционировать не может» [Залевская 2005, с. 307]. Именно взаимодействие внешнего и внутреннего контекстов признается ученым важнейшим фактором, обеспечивающим определенную инвариантность смысла для говорящего и слушающего [Залевская 2005].

А.А. Залевская экспериментально доказала, что возможность построения мыслительного содержания речевого произведения базируется на феномене «высвечивания» в сложившейся индивидуальной когнитивно-аффективно-перцептивной системе («картине мира») оснований для реконструкции и оценки смысла сообщения, передаваемого посредством текста. Этот процесс предполагает взаимодействие языковых и энциклопедических знаний человека, упорядоченность их хранения в оптимальных для использования в речемыслительной деятельности формах репрезентации и организации.

Деятельность реципиента при восприятии сообщения отличается активностью и мотивированностью. Именно наличие мотива направляет эвристический поиск воспринимающего, активизирует автоматизированные операции алгоритмического типа, включает обязательный эмоционально-оценочный фон протекающих при этом процессов и высвечивает неравноценность элементов текста с точки зрения их роли в качестве каналов, направляющих понимание по тому или иному пути и обеспечивающих его успешность.

Кроме того, вариативность индивидуального опыта сочетается с инвариантностью специфичных для некоторого социума языковых и энциклопедических знаний, «помеченных» в аксиологическом плане с позиций принятой этим социумом системы норм и оценок [Залевская 2005, с. 235–334]. Это обеспечивает понимание передаваемого посредством текста сообщения и в то же время проявляет национально-культурную (вероятно, и региональную) специфику взаимодействия реципиента и текста при выявлении универсальных характеристик рассматриваемого феномена.

В контексте сказанного, при исследовании понимания текста реципиентами, создающими речевые сообщения, мы пытались ответить на следующие вопросы:

- 1) Что стоит за словом в индивидуальном сознании человека пишущего?
- 2) Какие слова могут выступать в журналистских текстах в качестве «ключевых», направляя процесс понимания и обеспечивая успешность последнего?
- 3) Какие специфические особенности единиц индивидуального лексикона позволяют понять больше, чем непосредственно дано в тексте?
- 4) В чем состоит и чем объясняется роль семантических замен в процессе понимания текста?
- 5) Какие характеристики слова могут затруднять понимание текста или направлять его по ложному пути?

Краткое содержание эксперимента.

В период с декабря 2006 года до февраля 2007 года был проведен ряд экспериментов, направленных на исследование когнитивных структур сознания журналистов, работающих в региональном представительстве газеты «Аргументы и факты». Испытуемым было предложено для анализа 36 текстов, девять из которых были написаны самими реципиентами в период с 2004 по 2007 год. В ходе эксперимента было выявлено, что восприятие текстов их авторами отличается от восприятия этих же текстов остальными реципиентами. Восприятие же реципиентами их собственных текстов нельзя определить однозначно. Предполагается, что причиной вариативного восприятия одних и тех же текстов реципиентами являются общие особенности процесса восприятия, специфика психологической организации индивидов, характер ситуации восприятия, а также уровень профессионализма каждого из реципиентов как журналиста.

Характеристика реципиентов

В эксперименте участвовало 4 испытуемых: 3 реципиента женского пола, 1 – мужского. Реципиент 1 (P1) – 25 лет, пол – женский, образование – высшее филологическое (специальность «Филология»), стаж работы в СМИ – 6 лет. Реципиент 2 (P2) – 27 лет, пол – женский, образование – высшее филологическое (специальность «Филология»), стаж работы в СМИ – 7 лет. Реципиент 3 (P3) – 29 лет, пол – женский, образование – высшее филологическое (специальность «Филология»), стаж работы в СМИ – 9 лет. Реципиент 4 (P4) – 23 года, пол – мужской, образование – высшее филологическое (специальность «Журналистика»), стаж работы в СМИ – 1 год.

Реципиент 1 (далее P1). Тематика текстов охватывает различные сферы: социальную, культурную, образовательную, рекламную. Преваляют тексты культурной тематики. Большинство текстов P1 характеризуется наличием положительных эмотивно-оценочных смыслов. Можно предположить, что интенции, возникающие у данного автора, обусловлены потребностью создания речевых произведений, в которых отсутствует негативная информация или информация, способная вызывать негативные эмоции при восприятии. В текстах P1 отсутствует резкая оценка, основанная на субъективном восприятии ситуации, людей, явлений и т.п. Вероятно, для P1 стремление к объективности является основной установкой при обработке собранного для статьи материала. Под объективностью в создании газетного текста P1 понимает изложение материала без эксплицитно выраженного субъективного мнения автора (это было отражено в его анкете). Это обуславливает такие характеристики текста, как специфика стиля письма, структура текста, синтаксические особенности, лексические особенности, доминирующие эмоции.

Реципиент 2 (далее – P2). Доминирующее направление в тематике статей – криминалистика. Избегает создания рекламных текстов, что во многом объясняется исходной установкой. Установка – сбор максимального количества «правдивой» информации, необходимой для написания статьи, следование заданным параметрам текста – таким как объем, ракурс, тема. Эмоциональная составляющая присутствует лишь в том объеме, какой необходим для раскрытия темы. Главным качеством газетного текста считает его соответствие реальности.

Реципиент 3. Тематика статей – преимущественно социальная. Не делает дифференциации между рекламными и редакционными текстами, поскольку не отдает предпочтения какой-то одной теме. Установка почти полностью повторяет установку P2. Отличие состоит в том, что сбор информации мотивирован не намерением написать объективно, а стремлением полно раскрыть тему статьи и выдержать заданный объем. Тексты более эмоциональны, чем тексты P2.

Реципиент 4 может быть отнесен к поколению журналистов столичного типа, для которых характерна резкая критика, тяга к криминалистическим расследованиям, аналитика, призванная отражать все стороны исследуемого явления (положительные и отрицательные). P4 считает удачным журналистский текст, способный вызвать сильные эмоции, в большей степени негативные, у читателей по отношению к тому, что описывается в статье. При этом не имеет значения, каким способом

вызваны эти эмоции: «остротой» темы или комментариями автора, выражающими его субъективное мнение. Журналист Р4 амбициозен, не скрывает этого и не считает целесообразным занимать выжидательную позицию, а, напротив, стремится к реальным действиям.

До проведения экспериментов был произведен предварительный комплексный лингвистический анализ содержательной и структурной организации текстов, использованных в дальнейшем как предлагаемый реципиентам материал. Он показал следующее:

1. Р1 целенаправленно применяет в процессе создания текстов специальные знания о восприятии текста и формировании семантического поля. Однако специфика темы не всегда позволяет реализовать интенции, даже в случае языковой метарефлексии. Тем не менее автор пытается следовать ведущим личностным установкам, направленным на объективное, непредвзятое освещение событий.

2. Р2, как правило, не сопоставляет специфику материала и возможное восприятие текста. Выбор языковых ресурсов производится автором интуитивно, что ему позволяет осуществлять высоко развитая речевая компетенция.

3. Р3 для создания успешных текстов использует в большинстве случаев особый ракурс темы и эмоциональную составляющую. Ее тексты отличаются позитивной эмоцией.

4. Р4 ставит своей целью создание текстов, вызывающих сильные эмоции, чаще всего негативные. Ироничный стиль изложения позволяет ему избегать прямых обвинений в адрес героев своих речевых произведений. Экспликация образа журналиста в большинстве статей призвана воздействовать на категорию реципиентов, интересующихся специфическими фактами из жизни социума.

Цель и задачи эксперимента

Экспериментальное исследование призвано выявить особенности восприятия и порождения текста реципиентами, а также объяснить вариативность сознания индивидов одной профессии, определить различие между интенцией автора текста и итоговым восприятием этого текста другим реципиентом.

Методика проведения эксперимента

В качестве основной методики экспериментальной части исследования выбраны ассоциативный и семантический эксперименты как наиболее соответствующие ее целям и задачам.

Проведенный ассоциативный эксперимент можно обозначить как условно направленный, поскольку направление эксперимента задают выбранные нами тексты. Данный метод опосредованно выявляет актуальные для индивида когнитивные признаки представленных слово-стимулом реалий, дает некоторую свободу выбора оснований для фиксации реакции на слово-стимул, а формулировка заданий в анкетах не оказывает влияния на характер такой реакции. Процедура эксперимента исключает возможность со стороны испытуемых прогнозировать ожидаемые реакции. Этому способствует минимальная жесткость условий, которые соблюдаются при заполнении анкеты, обеспечивающая максимальную свободу вербализации ментальных образований, возникающих в результате предъявления слова-стимула. Поэтому использование именно этой методики проведения эксперимента дает основания надеяться на получение более достоверных данных о том, как мышление реципиента моделирует реальность в процессе порождения и восприятия текста. Ассоциативный эксперимент способствует выявлению восприятия текста, в то время как семантический эксперимент необходим для установления особенностей механизма порождения текста у испытуемых.

Экспериментальный материал. Для анализа испытуемым было предложено 36 текстов, $\frac{1}{4}$ часть которых написана каждым из реципиентов. Во всех экспериментальных заданиях участвовали разные тексты. Это обусловлено тем, что для верификации информации, полученной в ходе семантического эксперимента, текст не должен быть проанализирован ранее в экспериментальных заданиях.

Экспериментальное задание 1. Испытуемым было предложено по 20 текстов, авторами 4 из которых являются они сами. Тексты относились к разным тематическим рубрикам и к разным установкам (редакционным и рекламным). От испытуемых потребовалось озаглавить текст (первоначальные заголовки были предварительно зашифрованы), определить тему и идею текста, написать аннотацию к тексту. Задание было направлено на первичное знакомство с текстом и на выявление восприятия общего смысла текста.

Экспериментальное задание 2. Участвовали те же тексты, что и в задании 1. Был проведен ассоциативный эксперимент, состоявший из нескольких частей: 1) испытуемым были выданы анкеты, содержащие 8 обозначений цвета, было предложено выбрать из предъявленного списка или обозначить те цвета, которые ассоциируются с данным текстом; 2) был предъявлен ряд слов-стимулов (прилагательных), которые, веро-

ятно, могли ассоциироваться в сознании реципиента с данным текстом; 3) был дан ряд существительных с абстрактной семантикой, коррелирующих со смысловыми доминантами текста. Испытуемый мог дополнить ассоциативный ряд, если в его восприятии данный текст ассоциировался с лексемами, не предложенными для выбора; 4) у испытуемых забирали текст и предлагали вспомнить 10 ключевых слов из него, а также 3 ключевых предложения. Предполагалось, что слова-стимулы, обозначенные реципиентом, могут не совпасть с ключевыми словами, выявленными в результате лексико-семантического анализа. Все задания направлены на экспликацию восприятия текста, а также его оценки реципиентом.

Экспериментальное задание 3 (семантический эксперимент). Испытуемым предлагалось восстановить пропущенные фрагменты 8 текстов, 2 из которых написаны ими самими. Были пропущены высказывания, требующие осмысления содержания текста в целом. Задание было направлено на одновременное выявление особенностей двух процессов, происходящих в сознании, – восприятия чужого текста и порождения своего.

Экспериментальное задание 4 (семантический эксперимент). Было выбрано 8 текстов, не участвовавших в предыдущих заданиях. Каждый текст был разделен на смысловые отрезки (разрезан и представлен испытуемым в стихийной последовательности), из которых предстояло собрать текст. Эксперимент направлен в большей степени на выявление реакций и отношения испытуемого к предлагаемым текстам, хотя в такой системе речевых действий также задействованы процессы порождения.

Литература

Бутакова Л.О. Автор в системе и структуре медиа-текста // Университетская филология – образованию: человек в мире коммуникаций. – Барнаул, 2005.

Бутакова Л.О., Дорофеева М.Ю. Способы когнитивной реконструкции медиасознания: медиа-текст и его автор // Языковое бытие человека и этноса: психолингвистический и когнитивный аспекты. – М., 2005. – Вып. 9.

Горошко Е.И. Изучение вербальных ассоциаций на цвета // Языковое сознание и образ мира. – М., 2000.

Залевская А.А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст. Избранные работы – Ч. 2. Проблемы понимания текста. – М., 2005.

Зимняя И.А. Смысловое восприятие речевого сообщения (в условиях массовой коммуникации). – М., 1976.

Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения. – Спб., 2001.

Кормильцына М.А. Наблюдения над разнообразием средств выражения личностного начала и идиостилем авторов в дискуссии «Десять лет, которые потрясли...» на страни-

цах «Литературной газеты» (2001) // Проблемы речевой коммуникации. – Саратов, 2003. – Вып. 2.

Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – М., Спб., 2003.

Леонтьев А.А. Психолингвистические особенности языка СМИ // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. – М., 2003.

Лурия А.Р. Язык и сознание. – Ростов-на-Дону, 1998.

Ножкина Э.М. Языковая личность в структуре интервью // Проблемы речевой коммуникации. – Саратов, 2003. – Вып. 2.

Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. – СПб., 2005.

Рогозина И.В. Медиа-картина мира: когнитивно-семиотический аспект: дисс. д-ра филол. наук. – Барнаул, 2004.

Сметанина С.И. Медиа-текст в системе культуры (динамические процессы в языке и стиле журналистики конца XX века). – Спб., 2002.

Чернышова Т.В. Тексты СМИ в зеркале языкового сознания адресата. – Барнаул, 2005.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ГРАФИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ПОЭЗИИ (на материале лирики Игоря Северянина)

Е.Н. Матвеева

Основной текстовой единицей, выражающей эстетическое значение, является слово. Роль слова в искусстве принципиально отличается от роли слова в нехудожественной коммуникации: в художественной литературе оно становится значимым элементом эстетической сущности произведения. В этой связи М.М. Гиршман отмечает, что «художественное слово именно качественно, субстанционально отличается от своего внехудожественного прототипа, его преобразование в художественном произведении есть именно переход в новую сферу бытия, в новое качество, в котором оно не существует до произведения и за его пределами, и эта эстетическая специфика художественного слова не раскрывается полностью лингвистическими и семиотическими методами» [Гиршман 2002, с. 65].

Эстетическое значение (эстетическая семантика) слова – семантическая данность, которая, как правило, понимается интуитивно и при анализе художественного текста не может быть однозначно определена. Наиболее признанным в современной отечественной лингвистике является представление об эстетическом значении как индивидуальном, личном употреблении слова для реализации авторской интенции. Слово несет не только актуальную информацию, передаваемую в ходе повседневной речевой коммуникации, но и аккумулирует инфор-

мацию социально-историческую, интеллектуальную, экспрессивно-эмоциональную, оценочную, общегуманистического и конкретно-национального характера, эстетическое значение которого возникает как результат выдвигания одного из культурных компонентов смысловой структуры слова [Бельчиков 1988, с. 30–35]. По замечанию Б.А. Ларина, слово с «эстетическим значением не примыкает к ближайшим словам по смыслу, а служит намеком включенных мыслей, эмоций, волений» [Ларин 1974, с. 33–34].

В данной статье мы придерживаемся определения эстетического значения, предложенного Л.И. Донецких: «Эстетическое значение – это идеопосредованный тип значения, соотносимый с номинативным, производным (метафорическим и метонимическим) и символическим значениями, характеризующийся смысловой многомерностью, возникающей при трансформациях, взаимодействиях сем в содержательном объеме слов и реализующийся в художественной речи в виде новых значений, оттенков значений слова, эмоционально-экспрессивных смыслов, контекстных и подтекстных употреблений и ассоциаций» [Донецких 1982, с. 26–27]. Эстетическое значение слова выходит за пределы языка, оно контекстуально мотивировано и ориентировано относительно художественно моделируемой действительности и относительно текста; эстетически значимые компоненты текста композиционно связаны, что подчеркивает единство и развертывание художественной конструкции.

Языковая единица, наделенная эстетическим значением, становится эстетическим текстовым знаком. Основным – как языковым, так и текстовым – знаком является слово, однако объем текстового знака может быть различным. В области значения текстовый знак – знак вторичного означивания, двухъярусная структура, в которой значение первичного знака модифицируется в иное, эстетически отмеченное, принадлежащее одновременно словесной коммуникации и словесному искусству. Эстетический текстовый знак имеет ряд особенностей, противопоставляющих его узуальному знаку и определяющих специфику эстетически значимой единицы как конструктивного элемента текста: «продленную» асимметрию означающего и означаемого, смысловую противоречивость, семантическую подвижность, творческий характер, необычную (художественную) форму и др. [Новиков 2001, с. 60–68]. Базой эстетического значения текстовой единицы является авторская экспрессия, особое видение и эмоциональное восприятие объекта, транслируемое через художественный текст посредством выбора и комбинирования выразительных языковых средств.

Эстетическое значение может быть эксплицировано автором различными средствами: лексическими, лексико-семантическими, грамматическими, стилистическими. Особое место в ряду эстетически значимых средств занимают графические, поскольку они в наименьшей степени связаны с системой языка. Прибегая к ним, автор может учитывать сложившиеся в узусе особенности употребления или предложить читателю свою систему выделения и интерпретации текстовых знаков. Графические средства при этом не приобретают самостоятельной семантики, а являются маркерами окказиональных коннотаций, приобретаемых единицами языка в соответствии с авторской интенцией, и служат для реализации эстетической функции слова¹.

Эстетические возможности графических средств используются в художественном тексте сравнительно редко, однако именно относительно низкая частотность определяет их высокую значимость в художественной коммуникации: необычность формы сразу привлекает внимание читателя и является признаком семантических приращений текстовой единицы, образного функционирования. В художественной практике разработан ряд графических средств актуализации эстетического значения (параграфем). Параграфемные единицы являются средствами разграничения, актуализации и выделения смысла, направленными на акцентуацию внимания и восприятие читающего. Вопросы параграфематики разработаны в трудах К.Э. Штайн [1989], Б.А. Плотникова [1992], В.П. Москвина [2004] и др. В исследованиях графических средств отмечается их экспрессивно-эмоциональный потенциал. Например, «Графические эфффекторы выразительности, воздействия, эмоциональности работают на семантическую проекцию, на ориентацию в информационном пространстве, поэтому выделение и систематизация графических средств <...> представляются необходимыми при описании фоностилистических ресурсов языка» [Кульшарипова 2005, с. 61]. К ним относятся нарушения орфографических и пунктуационных норм, введение несвойственной языку произведения литерации, не обусловленные синтаксически кавычки, шрифтовое выделение отдельных единиц: разрядка, курсивное и полужирное начертание, подчеркивание, зачеркивание, прописные буквы. В поэзии применяются преимущественно фигурная форма произведения, разрывы и сегментирование строк.

Предметом рассмотрения настоящей статьи являются особенности функционирования графических средств в поэзии И. Северянина: ла-

¹ Те же графические средства в научных и официально-деловых текстах выполняют принципиально иную функцию, поскольку служат для структурирования текста, экспрессивно нейтральны и подчиняются строгим нормам употребления.

тинская литература, нарушения орфографического облика слова, графические выделения текстовых знаков.

1. Иноязычная литература

Характерной чертой многих стихотворений И. Северянина является обилие заимствований и варваризмов. Он «поражал современников обилием иноязычных заимствований, вновь изобретенных слов, созданных на основе варваризмов» [Баевский 1996, с. 218]. Наиболее частый прием введения иноязычного компонента – традиционное представление его средствами русской графики: *антракт, брэкфэст, вуаль, гондола, гривуазный, друид, жюри, иллюзия, кюрасо, ландо, мезальянс, нюанс, орангутанг, палаццо, репродукция, скальд, таверна, фэйф-о-клок, хло-роформ, цилиндр, чарльстон, ихера, эффектный, юнкер, яхта*. В других случаях поэт снимает ощущение новизны слова, образуя от него окказиональное производное, подразумевающее наличие целого деривационного гнезда: *гурманоазис, глинтвейнодел, апломбист, меццо-гул, бравадный, монстриозный, пророкфорить, изавтомобилена, игнорирно*.

Однако в ряде случаев вводятся неосвоенные графически слова и фразы: *bleugendarme, bon vivant, causerie, crescendo, cripe de chine, en deux, fille d'hotel, gris-perle, houbigant, in pace, maître d'hotel, ö ö pik, opus, pardon, pas, pas de grâce, pliant, Pü hajö gi, via sacra, votre plaisir*, а также имена собственные: «*A rebours*», «*Bel-ami*», *Jardin des Tuileries, Enno, «Les fleurs du mal», Louis XV, Notre-Dame, Paris, «Quo vadis», Rakvere, Tiergarten, Titanic, Unter den Linden*. Часто в иноязычной литературе даются названия напитков: *Creme d'enine vinette, Creme des lilas, Creme des Violettes, oporto, triple sec curasso, triple sec Couantreu*, определяющие читательское восприятие явлений и событий как экзотических, редких. На языке оригинала представлены и целые синтагмы, например: «*Ne jamais la voir, ni l'entendre*» (эпиграф к стихотворению «Из Сюлли-Прюдума»); «*Au pays parfume que soleil caresse...*» (эпиграф к стихотворению «Креолка»); *Mais non, regardez, regardez* («*Chansonnette*»), «*Remember me*» («Байрон»). Введение иноязычного компонента в форме, соответствующей языку-источнику, является приемом выделения текстового знака и индикатором эстетического значения: его семантика не равна номинативному значению, присутствуют контекстуально обусловленные коннотации.

Латинская литература применяется в ряде названий стихотворений и приобретает следующие значения:

– акцентирование внимания читателя на музыкальности текста, при этом заимствованный элемент является названием музыкаль-

ного жанра: «*Berseuse* осенний», «*Berseuse* томления», «*Berseuse* сирени», «*Berseuse*», «*Chanson coquette*», «*Nocturno*», «*Nocturne*», «*Prelude*», «*Virelai*»; или музыкального произведения: «*Ave Maria*», «Поэза о “*Mignon*”»;

– указание на ирреальность, условность лирического сюжета, название контрастирует с лексическим строем произведения, в котором преобладают просторечно-разговорные элементы: «*Chanson russe*»;

– выделение антропонима, называющего иностранца и служащего средством интертекстуальных или экстратекстуальных связей: «*Dame d’Azow*», «*M-me Sans-Genes*», «*Charlotte Corde*»;

– выделение текстовой единицы, создающей «местный колорит» и формирующей художественное пространство текста: «*Kevade*», «*Madis*», «*Tuu u Jukku*» (эстонский), «Под шум *Victoria Bay*» (английский).

В отдельных случаях название является маркером экзотичности – значимого в поэзии Серебряного века эстетического начала, как, например, «*Victoria regia*» – название четвертой книги поэм (1910–1915 гг.), в которой собраны эгофутуристические произведения.

Литерация названия стихотворения «*Carte-postale*» (1912) – *ночтовая карточка* – на французском языке необходима для акцентирования эстетического восприятия лирического героя:

Сегодня я плакал: хотелось сирени, –
 В природе теперь благодать!
 Но в поезде надо, – и не было денег, –
 И нечего было продать.
 Я чувствовал, поле опять изумрудно,
 И лютики в поле цветут...
 Занять же так стыдно, занять же так трудно,
 А ноги сто верст не пройдут.
 Гулять же по городу, видеть автобус,
 Лицо проститутки, трамвай...
 Но это же гадость! Тогда я взял глобус
 И, в грезах, поехал в Китай.

Действительность оценивается им через соответствие эстетическому идеалу. Мир природы противопоставлен миру человека: первый соотносится с категорией прекрасного, второй – безобразного, и лирический герой стремится уйти в мир красоты. Описанная в тексте бытовая ситуация – отсутствие денег на загородную поездку – становится причиной возникновения поэтического двоемирия, где *Kumai* – обозначение условного пространства далекой и прекрасной страны, существующей только *в грезах*. Согласно сюжету, лирический герой пишет

о своих переживаниях на почтовой карточке, и их отличие от традиционных требует нестандартной номинации предмета – *Carte-postale*.

Своеобразным приемом использования иноязычных вкраплений и варваризмов является разрушение их структурной целостности, добавление русскоязычных аффиксов и флексий: *berceuse'ы, berceuse'ные, в Renaissance'e, beau monde'a, zwischen-deck'цам, на zwischen-deck'e, Guerlain'a, Rheingold'a, полу-toqué*. Поэт создает двойственность восприятия слова: оно необычно для читателя и сразу акцентирует на себе внимание, для автора же стало превращаться в единицу активного лексикона, соотносимую с категориями русской грамматики. Таким образом формируется ирреальный образ автора, «маска», в которой он хотел бы предстать перед читателем – полиглот и космополит.

Функционально заимствования (как в русской, так и латинской литературе) могут служить также средством эстетической стилизации, например под речь определенного персонажа: *вот, не угодно ли, татап; mesdames, доверие; С фамилией – pardon! – такой... дурацкой. И как одем! Mon Dieu! Он прямо хулиган!; Сказав «adieu», уйдем; и средством выражения авторской оценки: Каких мне не дали «pastilles»; Стихи Ахматовой считают Хорошим тоном (comme il faut...); Идеалист style dé cadence!* В стихотворении «Поэза для лакомок» (1919) элементы в латинской литературе участвуют в создании образа прошлого, наполненного пошлыми удовольствиями, о которых ностальгически вспоминает лирический герой:

А пьяновишни от Bergin?
Засахаренные каштаны?
Сначала – tout, а нынче – rien:
Чтоб левых драли все шайтаны!
Bonbons de violettes Gourmets,
Пирожные каштанов тертых –
Вкушать на яхтенной корме
Иль на beaumonde'овых курортах.
Мечтает Grace, кого мятеж
Загнал в кургауз Кисловодска:
«О, у Gourmets был boule de neige»,
Как мятно–сахарная клецка...

2. Эстетическое значение графемы э

Особенно эстетически значимы для И. Северянина заимствованные слова, содержащие букву э. Для русских слов она нехарактерна и является очевидным признаком иноязычного происхождения слова: *аэролит, аэроплан, вирелэ, газэлла, дуэт, инфлуэнца, констэбль, лэ, ма-*

эстро, многоэтажный, поэма, поэт, поэтесса, фаэтон, эволюция, эго, эгоист, эгоистична, эдем, экватор, экзотика, экзотический, экипаж, эклер, экспрессия, экспромт, экстаз, экстравагантно, экстренный, эксцесс, эластично, элегантный, элегия, электрический, элементарный, эллин, эллиптический, эмалевый, эмаль, эмблема, эмигрант, эмигрантский, эмпуза, энергия, Эол, эпигон, эпизод, эпилог, эпиталама, эполеты, эпоха, эра, Эреб, Эрот, эротоманка, эрудит, эригерцога, эскадра, эскадрилия, эскиз, эскимос, эстет, эстлянский, эстрада, этика, этюд, эфемерида, эфир, эффектный, эшафот. Можно предположить, что эстетическая функция выполняется как лексемой, так и самой буквой э, демонстрирующей новизну и необычность слова. Частотность использования слов с буквой э в поэзии И. Северянина значительно превышает обычную для русского языка, в ряде случаев она вводится искусственно, что нарушает правописание слов, подчеркивая экзотичность их звучания², фактически именно буква становится носителем эстетического значения, различного на разных уровнях текста. На информативно-смысловом уровне реализуется значение «благородный, красивый, изысканный»: *берэт, буэр, вервэна, декольтэ, дэнди, кайзэрка, кафэ, коктэбль, констэбль, коттэдж, кризантэма, крэм, крэм-брюле, крэн, кэпи, мэнада, настэль, плерэзы, плэд, рефрэн, сэвр, турнэ, тюльбэри, тэннис, фойэ, шалэ, шоффэр.* Ряд имен собственных (антропонимов, топонимов и фиктонимов) в стихотворениях использован в вариантных формах с буквой э, что указывает на доминирование эстетической функции: *Бизэ, Бодлэр, Дантэс, Маллармэ, Масснэ, Меримэ, Метэрлинк, Мюссэ, Шопэн; Лувэн, Сэна, Одэр, Остэндэ; Антинэя, Вертэр, Гарриэт, Инэс, Ирэн, Мадлэна, Проспэр, Стэлла, Хозэ.* На прагматическом уровне нанизывание слов с буквой э является средством выражения авторской иронии:

Он читает ей Шницлера, посвящает в коктэбли,
 Восхвалив авиацию, осуждает Китай
 И, в ревнивом неверии, тайно метит в констэбли...
 Нелли нехотя слушает. – Лучше ты покатай.

(«Нелли», 1911)

Количество слов с буквой э в русском языке невелико, и И. Северянин создает новые лексические единицы, содержащие ее: поэзия → *поэза, поэзоконцерт, поэзовечер, поэзосоловей, поэзодельцы, нео-поэзный;*

² В ряде словоупотреблений использование буквы э является не нарушением, а вариантом современной И. Северянину орфографической нормы. Мы не дифференцируем эти случаи, поскольку особенности употребления графемы указывают на вполне определенную авторскую тенденцию: на наш взгляд, в идиостиле она является одним из постоянных маркеров эстетического значения слова.

поэт → *поэтик, поэтно, высокопоэтический*; поэма → *поэметта, беспоэмии*; пенснэ → *пенснэйный*; эго → *эгофутуризм, эгополонез, эгорондола*; экватор → *экваториальность*; экран → *оэкранить*; экс → *экс-друг, экс-царь, экс-чиновник, экс-гусар, экс-властительный*; экстаз → *экстазер, экстазный, экстаза* (сущ. ж.р.); эксцентричный → *эксцентричка*; эксцесс → *эксцессер, эксцессерия*; элегантный → *элегантка*; элегия → *элежный, элежник*; электричество → *электробот, электроветры, электричный, наэлектриченный, электростишить*; эльф → *эльфовый*; Эол → *эольчик, эольвый, эоля* (дееприч.); эскиз → *эскизетка, эскизя* (дееприч.); эстетика → *эстетная, эстетность*; Эстония → *эстийский, эсточка, обэстоненный*; эфемерный → *эфемерить*. Слова *демимондэнка* и *дэмимонденка* – варианты авторского производного от *demie monde* – полусвет, в обоих как признак новизны и иноязычного происхождения слова сохраняется буква э. Эта буква является ключевой в словообразовательных моделях слов *сюрприз* → *сюрпризэрка*, *греза* → *грезэр* → *грезэрка*, *резерв* → *резервэрка* (формант -эр- со значением «название лица по роду занятий»), *Мирра* → *Миррэлия* (формант –эли(я) со значением «страна»), *фетр* → *фетэрка* (формант –эрк- со значением «материал»), а также в *симфония* → *симфонизтта* (формант –этг(а) со значением «маленький»). Затемнены значение форманта -эт и производящая основа в слове *мируэт* (видимо, по аналогии с *пируэт*; производное от имени *Мирра*). Северянином также создан ряд авторских фиктонимов: *Крэлида, Эклерезита, Эльвина, Эльгерина, Эльсиса, Эскармонда*.

3. Шрифтовые средства выделения

Авторское выделение И. Северянином отдельных текстовых единиц средствами графики указывает на их высокую значимость для поэта, который сам расширявает функцию параграфемы:

Как жили бы люди красиво,
Какой бы светились мечтой,
Когда бы (скажу для курсива):

Их Бог одарил немотой.

(«И рыжик, и ландыш, и слива», 1911)

В ряде случаев шрифтом выделяются местоимения, имеющие в узусе абстрактную семантику. Использование параграфемы демонстрирует контекстное сужение значения, его конкретизацию в соотношении с другими текстовыми знаками. Обозначенная таким образом связь создает текстовое напряжение, актуализирующее эстетическое значение коррелирующих единиц: *Искал я в новой все того ж, иного, Что отличает от других – тебя!*; *каждый труженик-крестьянин Выписывает*

свой журнал; живой *по-своему* ведь жив; Любовь и Солнце мы встретим там! Пусть на закате *оно* уходит, *Она* приходит по вечерам; Ты помнишь *нашу* Валентину, Что чуть не стала лишь *моей*? Показателен пример стихотворения «Тайна песни» (1918), где наглядно представлена широта диапазона окказиональных значений:

Однако же, у всяких вкусов
Излюбленный искусник *свой*:
Одним – мил Дебюсси и Брюсов,
Другим – Серов и А. Толстой.

Выделенная автором единица, как правило, является оценочной и выражает авторскую позицию, отличающуюся от «масок» его лирических героев. Так, слова *нельзя*, *ничто* – показатели неприятия мира человека, противопоставленного миру природы: *Как слабы вы! Как мало дружны! Над Вами властвует Н е л ь з я*; *Сначала тьма? не свет ли после? Иль погрузимся мы в Ничто?* Вместе с тем человек имеет эстетическое значение «прекрасное, возвышенное»:

Но ты не животное, ты – *Человек*,
Кто б ни был ты – негр, англичанин иль грек –
Подумай об этом немножко...

(«Уничтожьте партийность!», 1923)

И всякий чуткий человек,
Живых оберегатель рек, –
Стремится, чтоб *своей* дорогой
Текла река. Тот – *человек*,
Кто горд возможно подмогой.

(«Триолеты», 1923)

Ироническую экспрессию приобретают оценочные эпитеты в стихотворении «Парижские Жоржики» (1927):

Их шалости *глубинны*
Их пошлости *тонки*.
Мальчишки неповинны
За все свои грешки...

Семантика определяемого слова контрастирует с узуальным значением прилагательного, и графическое выделение подчеркивает оксюморон, демонстрирующий разницу между сущностью явления (*пошлость*, *шалость*) и его оценкой в определенных кругах (*глубинный*, *тонкий*). Ключевым для И. Северянина в данном случае является не выделенное слово, а коррелирующее с ним.

Ирония определяет и использование просторечного варианта названия страны – *Рассея*: *Конечно, я для вас – «аристократ», Которого*

*презреть должна **Рассея**...* («Финал», 1919). Искаженный топоним употреблен в значении «толпа, невежественная масса», поэтому претензии на право оценивать поэта и его творчество вызывают резко негативную реакцию автора.

Выделенные шрифтом текстовые единицы могут также являться средствами интертекстуальных связей, как, например, в стихотворении «Изыски Гоголя» (1925):

Любовь ***веснует*** у него,
Горит лимон в ***саду пустыни***,
И в ***червонеющей*** долине –
Повсюдных знаков торжество.
И зимней ***ночи полусвет***
Дневным сменился ***полумраком***...
Все это мог сказать поэт,
Отмеченный парнасским знаком.

В авторском примечании указано, что выделенные слова и фразы – выражения Гоголя, а текст И. Северянина, таким образом, можно считать лирическим комментарием.

4. Функционирование параграфем в поэтических текстах

Графические средства в поэзии И. Северянина становятся приемом языковой игры, как, например, в стихотворении «Секстина» (1910). В каждой строфе повторяется слово *эклер* – «пирожное из заварного теста с кремом внутри», однако его эстетическое значение в данном тексте – символ приятной, но неадекватной критики. В тексте оно ассоциируется с эпитетом *воздушный*: *читаю отзыв, точно ем «эклер», так обо мне рецензия... воздушна; пусть дирижабли выглядят воздушно; нельзя судить воздушно. Воздушный (воздушно)* здесь – «наполненный воздухом», т.е. «пустой, бессодержательный». Введение омофона к *эклер*, данного в латинской литературе *é clair* (фр. молния), уточняет контекстные значения ключевого слова: *эклер* – символ поверхностной, легковесной критики, звучащей в восприятии поэта так же неприятно, как и несвоевременный петушиный крик. Творчество истинного поэта (такого, как Бодлер или автор) подобно молнии, разряжающей душную атмосферу пошлости и меняющей восприятие привычных вещей (в последней строфе значение *воздушно* – «легко, невесомо», экспрессия по сравнению с предыдущими строфами полярно меняется):

Близка гроза. Всегда предгрозье душно.
Но хлынет дождь живительный воздушно, –
Вздохнет земля свободно и послушно.

Близка гроза! В курятник, Шантеклер³!
 В моих очах é clair, а не «эклер»!
 Я отомщу собою, как – Бодлэр!

В этом же тексте используется и шрифтовое выделение отдельных текстовых единиц: *Цветами зла* увенчанный Бодлэр; *Поглубже в глубь*: бывает в ней *Бодлэр*. При внешнем сходстве способов выделения функция их различна: «Цветы зла» – поэтический сборник Ш.Бодлера, *поглубже в глубь* – цитата из него, следовательно, параграфемы указывают на интертекстуальные связи; выделение же имени поэта эксплицирует логическое ударение в поэтической строке.

Примером искусного соединения разных приемов графического выделения для создания цельного образа путем актуализации индивидуально-авторских приращений семантики и экспликации эстетической значимости служит стихотворение «Цветок букета дам» (1911):

В букете дам – Амьенского beau mond'a
 Звучнее всех рифмует с резедой
 Bronze-oxidî блондинка Эсклармонда,
 Цвета бальзаколетнею звездой.
 Она остра, как квинт-эссенца специй,
 Ее бравадам нужен резонанс,
 В любовники берет «господ с трапещий»
 И, так сказать, смакует mesalliance...
 Условностям всегда бросает «shoking!»
 Экстравагантно выпускает лиф,
 Лорнирует базарно каждый смокинг,
 Но не во всяком смокинге *калиф*...
 Как устрицу, глотает с аппетитом
 Дежурного очередную дань...
 При этом всё – со вкусом носит титул,
 Иной щеке даря свою ладонь.

³ Отметим отсутствие в этом слове графемы э, хотя явно заимствованное происхождение и особенности произношения, казалось бы, предполагают использование этого средства. *Шантеклер* – главный персонаж пьесы Э. Ростана «Шантеклер» (1910), трактуемый И. Северянином как самовлюбленный слепец, выносящий примитивные поверхностные суждения. Поскольку Шантеклер – петух (образ, восходящий к средневековому эпосу «Роман о Лисе»), это значение многократно обыгрывается в тексте стихотворения за счет развертывания ассоциативных рядов «петух → кукарекать → громко и неприятно кричать», «петух → курица → курица не птица», «петух → курица → куриные мозги»: *И курский соловей поет бездушно, // Когда ему мешает шантеклер; И в воздухе бывает не воздушно, // Когда летать захочет шантеклер...; В курятник, Шантеклер*. Слово, приобретающее в контексте эстетическое значение «безобразное, пошлое, примитивное», не может содержать буквы, ассоциирующейся с иными эстетическими категориями.

Ироническая экспрессия всего текста создается нанизыванием заимствований и варваризмов, переданных как кириллицей, так и латиницей на языке-источнике (французский и английский). Основная функция заимствованных слов – создание образа аристократки, описание ее внешности (*Bronze-oxidi*), характера (*остра, как квинт-эссенца специй*), особенностей поведения (*бравата, экстравагантно, лорнирует*), особенностей речи и произношения (*beau mond'a, mesalliance, shoking*). Фиктоним *Эсклармонда* также воспринимается как иноязычное слово в силу его фонетическо-графических особенностей. В характеристике окружения использованы кавычки – «*господа с трапеций*», что, видимо, является средством передачи особенностей речи героини, контекстное значение – «артисты цирка»; и шрифтовое выделение – *калиф*, демонстрирующее употребление слова в переносном значении: «Ирон. О человеке, наделенном или завладевшем властью на короткое время». Формирование эстетического значения заимствований происходит при их сопоставлении с разговорными элементами, снижающими образ, показывающими несоответствие притязаний действительному уровню культуры: *bronze-oxidi блондинка, смакует mesalliance, лорнирует базарно, не во всяком смокинге калиф*. Стяженная форма *квинт-эссенца* вместо литературного *квинтэссенция* (основа, самая сущность чего-либо) демонстрирует и особенности произношения героини, и ее желание произвести впечатление интеллектуалки при отсутствии фундаментального образования, и ироническое отношение к ней автора. Своеобразно описание возраста: *бальзаколетняя* – производное от имени О. Бальзака, окказиональное слово, построенное по модели имен прилагательных, называющих возраст (сорокалетняя) и компрессирующее значение «женщина бальзаковского возраста». Для понимания эстетической функции этого эпитета необходимо учитывать культурные коннотации производящей фразы (в начале XX в.): женщина не первой молодости, опытная, ведущая активную светскую жизнь и более ничем не интересующаяся. Синтагма *цветя бальзаколетнею звездой* является исчерпывающей характеристикой: в нем троекратно повторяется значение успешности, имплицитно выраженное в каждом слове (цвети – *неодобр.* процветать, звезда – знаменитый человек), и именно эта избыточность является знаком авторского неодобрения и иронии.

Неожиданное по результату соединение разных параграфем сделано в стихотворении «Еще не значит...» (1914):

Пройтись по Морской с шатенками,
Свивать венки из кризантэм,

По-прежнему пить сливки с пенками
 И кушать за десертом крем –
 Еще не значит... Прочь уныние
 И ядовитая хандра!
 Война – войной. Но очи синие,
 Синейте завтра, как вчера!

Просторечный грамматический вариант *пройтиться* стилистически контрастирует со словами *кризантема*, *крем*, содержащими графему э и имеющими семантический оттенок «изысканное, утонченное». Объединяющим началом служит контекст, в котором формируется тематическая близость данных слов: они называют явления обычной мирной жизни, противопоставленной войне. Антитеза необходима здесь для выражения идеи текста – желание получать удовольствие от жизни естественно для человека и не является предательством.

Наш анализ особенностей употребления графических средств в поэзии И. Северянина не претендует на полноту, однако он позволяет заключить, что в творчестве поэта параграфемы наделяются эстетическим значением, поскольку они являются средствами художественной коммуникации, эстетического воздействия на читателя: выделяют ключевые единицы текста, являющиеся центральными в формировании словесного образа, устанавливают интертекстуальные связи и выражают авторскую экспрессию.

Литература

- Баевский В.С. История русской поэзии: 1730–1980. – М., 1996.
- Бельчиков Ю.А. О культурном коннотативном компоненте лексики // Язык: система и функционирование: сборник научных трудов. – М., 1988.
- Гиршман М.М. Слово в художественной целостности литературного произведения // Гиршман М.М. Литературное произведение: теория художественной целостности. – М., 2002.
- Донецких Л.И. Эстетические функции слова. – Кишинев, 1982.
- Кульшарипова Р.Э. Фоностилистика: проблемы и перспективы // Русская и сопоставительная филология. 2005. – Казань, 2005.
- Ларин Б.А. Эстетика слова и язык писателя. – Л., 1974.
- Москвин В.П. Выразительные средства современной русской речи: Тропы и фигуры. Терминологический словарь-справочник. – М., 2004.
- Новиков Л.А. Структура эстетического знака и остраннение // Новиков Л.А. Избранные труды. Т. 2. Эстетические аспекты языка. Miscellanea. – М., 2001.
- Плотников Б.А. Семиотика текста: Параграфемика. – Минск, 1992.
- Штайн К.Э. Язык. Гармония. Поэзия. – Ставрополь, 1989.

**КЛАСТЕРНАЯ ТЕОРИЯ
РЕФЕРЕНЦИИ И СЕМАНТИКА ИМЕН:
КРАТКИЕ ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ**

О.А. Алимуратов

*...люди, уподобляясь линиям и краскам на полотне,
могут терять своё реальное содержание,
ускорять свой собственный конец и в порыве соблазна
воссоединяться со своей реальной формой,
будь то даже форма их собственного уничтожения...*

[Бодрийяр 2006, с. 23]

«Роза при имени прежнем; с нагими мы впредь именами», – так заканчивает свой знаменитый роман «Имя Розы» итальянский писатель и ученый У. Эко. Проблема имени занимала логиков, философов, лингвистов, богословов на протяжении веков, и соответствующим концепциям имени нет числа – вплоть до признания за именем регулятивной, управляющей функции во многих мистических религиозных течениях [Топоров 2005, с. 380].

Так, в частности, совершенно особое положение занимает имя собственное в древнеиндийской традиции. Согласно ведическим представлениям периода «Ригведы», «связь имени с его носителем неслучайна» [Елизаренкова 2005, с. 541]. В имени была заключена суть денотата, «будь то живое существо или неодушевленный предмет». Соответственно, не существовало различий между собственными и нарицательными именами: и первые, и вторые рассматривались как неотъемлемые характеристики денотата, как залог его реального существования.

Ввиду столь неразрывной связи с обозначаемой сущностью имя приобретало совершенно особый статус. Оно могло проявляться сразу или постепенно, а могло оставаться тайной навсегда, ведь его произнесение давало говорящему простор для целого ряда магических манипуляций [Елизаренкова 2005, с. 541]. Неслучайно поэтому в лучшие периоды своей истории человек «всегда пытался открыть за именем его высший смысл – бесконечную перспективу этих смыслов, путеводительную для духа» [Топоров 2005, с. 382].

В контексте вышеизложенного в настоящей статье нам хотелось бы остановиться на некоторых логико-лингвистических особенностях идентифицирующих имен и их референциальных характеристиках.

В соответствии с классификацией Н.Д. Арутюновой, можно отметить следующие значимые черты идентифицирующих имен:

- они *замещают в процессе коммуникации предмет* (или класс предметов), о котором идёт речь;
- идентифицирующие имена *обращены к миру, к элементам реальности*, в связи с чем значение имени является *производной от его референции*;
- *границы референции (экстенционала)* для этого класса слов четко определены;
- семантическая организация имен строится по таксономическому принципу, вследствие чего между областями референции разных имен могут существовать разного рода *отношения*: включение, наложение, пересечение и т.д. [Арутюнова 1999, с. 34–35].

Таким образом, как свидетельствуют перечисленные характеристики, в семантике идентифицирующих имен определяющую роль играет референциальная отнесенность.

В контексте теории референции и идентифицирующих имен важное место занимают близкие друг другу по духу концепции С. Крипке и К. Донеллана. Первоначально обе концепции были приложимы исключительно к именам собственным, которые составляют немаловажную часть всего корпуса идентифицирующих имен.

Традиция разделения всего множества имен на собственные и нарицательные берет свое начало в работах Дж.С. Милля, показавшего принципиальную разницу между именами, предназначенными для многократного обозначения *конкретного объекта, о котором часто идет речь*, и именами для *объектов, нечасто становящихся предметом обсуждения*. Вследствие этого, когда возникает необходимость именования объектов второго типа, имена для них составляются из нескольких компонентов, каждый из которых сам по себе также можно использовать для именования.

Имена первой группы (*собственные*), к примеру, «*Пушкин*», «*Шекспир*» и т.д., обозначающие только один конкретный объект, Милль относит к «*неконнотативным*» в том смысле, что они никак не характеризуют свой референт, не подчеркивают никаких его свойств.

С другой стороны, имена, причисленные ко второй группе (*нарицательные*), например, «*отец Эдгара По*», относятся Миллем к «*коннотативным*» [Mill 1882, с. 13–15]. Происходит это по двум очевидным причинам. Такие имена, как и имена неконнотативные, обладают единственным референтом, но, в отличие от собственных имен, *вы-*

носят на первый план и описывают определенное свойство этого референта. В нашем примере референтом имени «отец Эдгара По» является личность, обозначаемая собственным именем «Джон Аллен». Однако если имя «Джон Аллен» не выделяет у своего референта никаких отличительных характеристик, то имя «отец Эдгара По» отсылает к тому же самому референту, акцентируя наиболее широко известное его свойство «*быть отцом Эдгара По*». Коннотативные имена, как видно из названия, имеют также и **ряд коннотаций – созначений**. Возвращаясь к примеру «отец Эдгара По», можно выделить у этого имени, к примеру, коннотацию «*известный актер*».

Такое разграничение имеет принципиальное значение для понимания *теории дескрипций* Б. Рассела. Понятие коннотативного имени Милля сближается с понятием **определенной дескрипции** у Рассела – выражения, однозначно описывающего единственный, уникальный объект, являющийся референтом имени. Поскольку фиксация этого референта происходит через называние определенного его свойства, то есть через передачу информации, связанной с фактами действительности, информация эта может быть как *истинной*, так и *ложной*. Соответственно и дескрипция может характеризоваться истинностью или ложностью, которая являясь неотъемлемым компонентом *истинности / ложности всего высказывания*.

В то же время неконнотативные, собственные имена, согласно Расселу, являются как бы **условной меткой** для некоего определенного объекта и не входят в фактуальную структуру высказывания. Такие имена (имена в чистом виде) представляют собой *дейктики*, инструменты *указания* на предмет речи, не являющиеся частью истинности или ложности утверждаемой нами информации [Russell 1952, с. 101 и далее; Гогтишвили 2006, с. 61–62]. Вместе с тем в реальном общении собственные имена имеют специфику, совершенно отличную от описанной выше. Если соображения Рассела относительно чисто указующего характера собственных имен верны, то истинность или ложность следующих высказываний не должна зависеть от употребления в них двух разных собственных имен:

- (1) **John** has stolen the money.
- (2) **Jim** has stolen the money.

Тем не менее истинность или ложность этих высказываний зависит именно от того, какое собственное имя употреблено в каждом из них: нам ведь уже известно, *что* произошло, наша задача – выяснить, *кто стал виновником* произошедшего.

Очевидно, принимая во внимание подобного рода факты, Б. Рассел предлагает считать собственные имена, употребляемые в речи, не именами в чистом виде, а *скрытыми дескрипциями*, в которых характеристики индивидов или объектов представлены *в свернутом виде*.

Центральным моментом для теории С. Крипке, в противовес концепции Б. Рассела, является *разграничение собственных имен и дескрипций*. Под именами собственными в данном случае понимаются выражения типа «*Аристотель*», «*Моисей*», то есть только то, что считается именами собственными в естественном языке. Для обозначения *имен и дескрипций вместе* Крипке вводит термин «*десигнатор*», а разграничение имен и дескрипций проводится им при помощи понятия *референт*. Для имени таковым является объект, называемый при помощи данного имени, несмотря на то, что в некоторых ситуациях говорящий может употребить имя, осуществляя референцию к совершенно другому объекту. Чтобы примирить два этих факта, Крипке вводит понятие *семантического референта*. Для имени таковым является нечто, называемое посредством данного имени; для дескрипции – удовлетворяющей ей объект. В обоих случаях понятие референта связано с *верой говорящего* в то, что некий объект действительно является референтом произносимого им имени или дескрипции. Таким образом, даже при неверном соотношении имени (дескрипции) и объекта, по мнению автора, *акт референции состоялся*, а базой для него стали *неверные представления говорящего* о порядке вещей (*appropriate false beliefs*) [Kripke 1980, с. 25; Burge 1996, с. 11].

Крипке вводит также понятие *жесткого и нежесткого десигнаторов*. Под *жестким* десигнатором понимается *выражение, обозначающее один и тот же объект в любом из возможных миров* [Montague 1974; Сааринен 1986, с. 122–123]; в противном случае десигнатор считается *нежестким*. В системе С. Крипке имена предстают как *жесткие десигнаторы*, соотносящиеся с одним и тем же объектом вне зависимости от того, о каком из возможных миров идет речь, и вне зависимости от того, сколь разные представления связаны у этих индивидов с референтом имени. Если принять положение Б. Рассела о том, что имя не является жестким десигнатором и синонимично соответствующей дескрипции, то, как считает Крипке, будет иметь место следующее:

1) собственное имя, например «*Moses*», будет *синонимично* дескрипции «*the man who did such and such*» (*дескрипция 1*), следовательно, «*Moses*» *обозначает* «*the man who did such and such*»;

2) если дескрипция 1 неверна, то есть имеет место «*no one did such and such*» (*дескрипция 2*), то отсюда следует, что *Моисей не существовал*.

Однако, замечает С. Крипке, если отнести дескрипцию 2 к классу жестких десигнаторов, окажется, что «*no one did such and such*» и «*Moses did not exist*» синонимами больше не являются. Действительно, если представить себе такой возможный мир, в котором верен жесткий десигнатор «*no one did such and such*», из его истинности не следует истинность того, что Моисей не существовал. В понимании С. Крипке, дескрипция 2 говорит лишь о том, что никто не делал того, что Библия приписывает Моисею, ничего не сообщая нам о том, существовал Моисей или нет. Независимо от того, какая из двух дескрипций верна, Моисей останется Моисеем [Kripke 1980, с. 58; см. также: Гриненко 1999, с. 296].

Таким образом, *собственное имя* (также являющееся жестким десигнатором) *обозначает один и тот же объект в разных возможных мирах и для разных индивидов*, употребляющих это имя, *вне зависимости от того, сколь разные представления связаны у этих индивидов с референтом имени*. Зададимся вопросом: каким же образом говорящие могут располагать сведениями относительно референта, если он не определяется соответствующей дескрипцией? По мнению С. Крипке, соотнесение имени с конкретным объектом происходит в результате *последовательного обозначения данным именем одного и того же объекта разными говорящими*. Такой процесс автор называет *каузальной цепью коммуникации* (*causal chain of communication*). Началом этой цепи является *момент первичного наименования* объекта данным именем – «*крещение*» этого объекта. С этого момента успешность процесса референции должна обеспечиваться *непрерывностью* каузальной цепи коммуникации. Ни говорящий, ни адресат речи не обязаны проследить всю цепочку от ее начала до момента речи – они вообще могут не знать, когда и при каких условиях акт «крещения» объекта имел место [Шмелев 2002, с. 29 и след.]. Позднее теория жестких десигнаторов распространилась и на ряд нарицательных имен, таких как *золото*, *вода*, *тополь* и т.д. Важной отличительной особенностью теории указания С. Крипке является мысль о том, что соотнесение имени с соответствующим объектом происходит зачастую *на основе случайного свойства* последнего, на котором базируется «крещение» объекта. Поскольку дальнейшее употребление имени определяется каузальной цепью коммуникации, членам языкового сообщества не нужно знать существенные свойства объекта, являющегося референтом того или иного имени (см. в этой связи: [Лебедев 1998, с. 122]). Последняя мысль представляется нам интересной, хотя и далеко не бесспорной.

На отказе от интерпретации собственных имен как скрытых дескрипций построена и близкая теории С. Крипке концепция К. Донел-

лана, в основе которой лежит положение о том, что *правильное понимание того, к чему или кому именно отсылает то или иное имя, зависит от исторической связи между именем и предполагаемым референтом* [Donnellan 1972, с. 362].

Таким образом, согласно Крипке, Донеллану и их последователям, референция имени обеспечивается либо каузальной цепочкой именованя, либо исторически обусловленным соотносением имени с конкретным референтом, что, по сути, одно и то же. Нельзя, однако, как совершенно справедливо замечает Н.Д. Арутюнова, не отметить ограниченности такого подхода, так как он приложим исключительно к объектам, *известным говорящему и / или слушающему из непосредственного опыта* [Арутюнова 1999, с. 28]. Подчеркнем, что только непосредственный опыт позволяет постигнуть тот или иной референт в комплексе и, вследствие этого, соотносить его с некоторым именем во всех возможных мирах и вне зависимости от дескрипций. Объекты же, которые невозможно постигнуть на непосредственном опыте, доходят до нас в качестве референтов имен как раз из-за того, что по каузальной цепочке коммуникации передаются некоторые отличительные признаки этих объектов, данные в дескрипциях. Другими словами, *каузальная цепь рвется в тот момент, когда некоторый референт безвозвратно извлекается из сферы непосредственного опыта данного языкового сообщества*.

В этой связи у нас есть и другое возражение против каузальной цепочки, так как возникает вопрос: какого рода информация должна передаваться по этой цепочке для того, чтобы обеспечивать успешность процесса референции собственного имени? Очевидно, информация эта должна сводиться примерно к следующему: «*Объект (явление, процесс и т.д.) X называется именем Y*». Мы строим определение именно в таком порядке, поскольку предполагается, что оно берет начало с акта первичного именованя, когда в фокусе внимания оказывается сначала подлежащий называнию объект, а затем – соответствующее имя. Однако для успешности процесса референции необходимо, чтобы приведенное определение обладало признаком коммутативности (возможности перестановки частей), позволяющим переключать фокус внимания не только с объекта на имя, но и наоборот – с имени на соответствующий объект. Однако здесь мы сталкиваемся с серьезной проблемой: *каким образом возможно однозначно выделить объект X, о котором мы ведем речь, из всего множества окружающих нас объектов?* Уточним, что, если мы хотим сохранить непрерывность каузальной цепи, как этого требует Крипке, выделение *X* придется проводить постоянно, чтобы сохранить

соответствующую компетенцию в рамках языкового сообщества. Выделить X из множества других объектов можно, по-видимому, лишь двумя путями: посредством *остенсивного определения* (то есть просто указав на интересующий нас объект) либо прибегая к *определённым дескрипциям*. Поскольку использование дескрипций в таком случае исключается, остается только один путь – остенсивное определение. Залогом успешности последнего как раз и является данность X в непосредственном опыте: нам необходимо на что-то указывать. Если это условие не выполняется, языковое сообщество не может не разорвать каузальной цепи и не прибегнуть к помощи дескрипций.

В момент разрыва каузальной цепи на смену проанализированным выше концепциям может прийти *кластерная теория референции* (см., в частности: [Крипке 1980, с. 64–66] и др.), согласно которой референт имени должен удовлетворять не одной дескрипции, а *достаточно му их количеству*, объединенному в набор, или кластер.

Набор дескрипций, о которых идет речь, описывает ряд *свойств φ* , которые в совокупности определяют *уникальный объект Y , референт* конкретного выражения X . Использование именно кластера, а не одной дескрипции для фиксации референта имени, как нам представляется, существенно повышает шансы на успех такой фиксации. Безусловно, прав С. Крипке, говоря о том, что велика вероятность ошибки при выделении свойств φ , определяющих референт Y . Однако при отсутствии объекта для остенсивной демонстрации, полагаем, что *набор дескрипций является наиболее адекватным заместителем этого объекта*. Следующие примеры подтверждают высказанные соображения:

- (3) *Peterson screwed up his face to indicate he didn't understand.*
 ... «*One guy gets it in the back of his head, the lady believes she can fly.*
What's the connection?»
 «*Mexico. The Watergate. That's enough to at least not rule out a connection.*»
 «*Was the guy in the garage hit ever ID'd?*»
 «*Out of our hands now... Somebody over at State jumped in because of the guy's nationality.*»

[Truman 1998, с. 114]

- (4) «*I will go with you as I promised. I promised again. But not now. You are not safe yet. I will save you, but you must trust me.*»
 «*We must trust Master?*» said Gollum doubtfully. «*Why? Why not go at once? Where is the other one, the cross rude hobbit? Where is he?*»
 «*Away up there*», said Frodo...

[Tolkien 1993, с. 376]

Как в (3), так и в (4) возможность остенсивного определения референтов выражений *one guy* и *the other one* исключена ввиду отсутствия данных персонажей в поле зрения как говорящего, так и слушающего. Успешная фиксация референта в примере (3) осуществляется в результате употребления одним из говорящих определенной дескрипции *the guy in the garage hit*, которая позволила каждому из участников диалога корректно идентифицировать референт выражения *one guy* как человека, убитого при нападении на гараж. Корректность идентификации референта подтверждается ответной репликой второго коммуниканта, предоставляющего собеседнику дополнительную информацию о проблемах, возникших в ходе расследования обсуждаемого происшествия и связанных с национальностью убитого.

Сходная ситуация складывается и в примере (4), хотя в данном случае для адекватного замещения индивида, о котором идет речь в диалоге – попутчика Фродо, – необходим именно кластер, включающий в себя две определенные дескрипции – *the other one* и *the cross rude hobbit*. Как свидетельствует ответная реплика Фродо «*Away up there*», такого пучка дескрипций оказывается достаточно для корректной фиксации референта без остенсивного определения: Фродо верно отвечает на обращенный к нему вопрос, указывая собеседнику местонахождение своего попутчика.

Подведем краткие итоги рассмотрения имен в контексте проблем референции. В силу того, что идентифицирующие имена представляют собой *заместители объектов* окружающего мира, семантика таких имен обращена *вовне*, на предмет, объект, явление или их класс, о котором в данном случае идет речь. Референция в нашем понимании представляет собой *процесс соотнесения некоторого языкового выражения с определенным предметом, объектом, явлением или классом таковых в рамках конкретного высказывания*; таким образом, *референция является центральным элементом семантики идентифицирующих имен*.

Имена собственные, составляющие важный подкласс имен вообще, можно рассматривать как *жесткие десигнаторы*, обозначающие один и тот же объект, *независимо* от того, удовлетворяет референт имени соотносимым с этим именем дескрипциям или нет. Соответственно, референция собственного имени определяется следующими двумя факторами: 1) на начальном этапе, при условии данности референта в непосредственном опыте, – *каузальной цепью коммуникации*, берущей свое начало от акта первичного именованя объекта посредством имени; 2) при разрыве каузальной цепи – *набором соответствующих дескрипций*, по возможности адекватно идентифицирующих референт.

Литература

- Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М., 1999.
Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. – М., 2006.
Гоготишвили Л.А. Непрямое говорение. – М., 2006.
Гриненко Г.В. Смысл и значение в сакральных текстах // Логические исследования. – М., 1999. – Вып. 6.
Елизаренкова Т.Я. Заметки об имени в «Ригведе» // Язык – Личность – Текст: Сборник статей к 70-летию Т.М. Николаевой. – М., 2005.
Лебедев М.В. Стабильность языкового значения. – М., 1998.
Сааринен Э. О метатеории и методологии семантики // Новое в зарубежной лингвистике. Логический анализ естественного языка. – М., 1986. – Вып. XVIII.
Топоров В.Н. Исследования по этимологии и семантике. Т. 1: Теория и некоторые частные ее приложения. – М., 2005.
Шмелев А.Д. Русский язык и внеязыковая действительность. – М., 2002.
Burge T. Philosophy of Language and Mind, 1950–90 // Readings in Language and Mind. – Cambridge (Mass.)–Oxford, 1996.
Donnellan K. Proper Names and Identifying Descriptions // Semantics of Natural Language. – Dordrecht–Boston, 1972.
Kripke S.A. Naming and Necessity. – Cambridge (Mass.), 1980.
Mill J.S. A System of Logic. – London, 1882.
Formal Philosophy. Selected Papers of Richard Montague. – New Haven–London, 1974.
Russell B. Descriptions // Semantics and the Philosophy of Language. – Urbana, 1952.
Tolkien J.R.R. The Two Towers. – NY, 1993.
Truman M. Murder at the Watergate. – NY, 1998.

БЕЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА?

А.А. Градинарова

Продолжающееся расширение в русском языке сферы синтаксической безличности – факт, отрицать который непредвзятому исследователю было бы трудно. Не представляя собой нового явления в русском синтаксисе (ср.: [Вежбицкая 1996; Гиро-Вебер 2001; Guiraud-Weber 2003]), экспансия безличной конструкции порождает языковые факты явно инновационные, хотя бы в смысле их растущей частотности.

Продуктивность бесподлежащих моделей проявляется не только в большом количестве построенных по этим моделям индивидуально-авторских новообразований в публицистике типа: *Страну ющило и янучило. Шел энный год оранжевой революции. Президент Кучма закончил очередной трактат и после долгих размышлений назвал его «Украина – не Ирак»* (материалы сайта razom.infostore.org), но и в расширении со-

става образующих безличные модели предикатов. Причем новообразования такого рода явно претендуют на стилистическую нейтральность и закрепление в языковой системе.

Так, в последние годы наблюдается активизация бесподлежащей модели с субъектом эмоционально-психического состояния в дативе (*Ему грустно; Ей весело; Им радостно*). Эта модель вовлекает в метафоричных значениях новые предикаты из состава разных тематических групп, в частности глаголы света (*мрачно, сумрачно, пасмурно, тускло, беспросветно*), вкуса (*кисло, приторно, солено*), цвета (*серо, чёрно, радужно* и др.): *Наоборот, чувства типа «я подавлен», «мне мрачно и скучно» или «я убью тебя» в искусстве, кино, моде и музыке отражают медвежий рынок* (Роберт Р. Пречтер, перевод); *Мой ангел, мне пасмурно и одиноко* (А.Журбин); *Почаще вспоминайте царя Соломона. Когда ему было кисло, он поворачивал на пальце кольцо, украшенное мудрейшей надписью: «И это пройдет»...* (Г. Прашкевич); *И сладко мне, и приторно мне как-то, Когда шагаю до родных дверей, А города ломоть покрыли капли Медовые московских фонарей* (С. Плотов); *Мне тоскливо и серо. Мне весь мир стал огромный душный вакуум-карцер* (О. Ерачина); *Да он по сторонам и не глядел, взглядом под ноги себе уперся, но видел лишь злобность свою непомерную, оттого и чёрно ему было* (Р. Крапп) и под.

В части современных текстов в качестве предикатов безличных предложений активно употребляются глаголы, обозначающие действия и процессы с субъектом-лицом: *На забор взбиралось, кряхтело и воняло издалика. В серебряном свете луны мелькнули нашивки пятого курса* (А. Покровский, Расстрелять); *Он оборвал речь, за дверью уже топало, послышался звон кольчуги, тяжёлые шаги* (Ю. Никитин, Зубы настезь); *В трубке пиццало, скрипело, орало, материлось* (Ю. Никитин, Скифы) и под. И хотя обезличивание ситуаций с личным субъектом нельзя отнести к числу русских синтаксических инноваций (ср., например, известный пример из «Детства» М. Горького: *За окном рычало, топало, царапало стену*), в наши дни, вероятно в связи с пренебрежением к литературной норме и мере, «уничуждение» известного из контекста личного субъекта становится излюбленным приемом некоторых авторов.

Интересно, что читающая публика критически относится к чрезмерному затуманиванию смысла посредством обезличивания ситуаций. Так, на интернет-странице, носящей название «Люба Федорова показывает, насколько плох Никитин» (gruffi.newmail.ru/tmp/fed_nic.htm), читаем: «А теперь я покажу характерные особенности стиля Никитина.

В скобках – мой комментарий. <...> *Рядом хрипело и сипело. // Коротко и зло польхнуло. // Послышался чавкающий удар, во все стороны брызнуло. // Там сразу зашуршало и зачавкало.* (И все это почти подряд на 2-х с половиной страницах. Очень любопытно, *кто* было это оно).

В чем же причина продуктивности в русском языке безличных моделей? Как известно, большой популярностью пользуются сейчас объяснения известных и менее известных лингвокультурологов, видящих основания этого явления в особенностях национального менталитета, а именно в склонности русского человека к пассивности, фатализму, агностицизму, антирационализму, в представлении им событий как не поддающихся контролю со стороны субъекта, не зависящих от субъекта, не вполне постижимых и т.п.

В настоящее время никто не станет подвергать сомнению связь языковых форм с когнитивными структурами. Однако обусловленность этих форм некоторыми национальными чертами характера кажется весьма сомнительной. Весомые доказательства несостоятельности некоторых лингвокультурологических объяснений можно найти в готовящейся к печати монографии немецкого исследователя из университета в Нюрнберге (Erlangen-Nuremberg University) Е.В. Зарецкого «Безличные конструкции в русском языке: культурологические и типологические аспекты». Отсылая читателя к электронной публикации рукописи книги [Зарецкий 2007], содержащей большое количество языковых сопоставлений, данных статистики и многочисленные ссылки на работы по грамматике, общему языкознанию, синтаксической типологии и лингвокультурологии, позволим себе привести здесь некоторые сделанные автором в результате его работы выводы.

«Хотя чрезвычайно широкую сферу употребления безличных конструкций в русском языке отрицать невозможно, – пишет Е.В. Зарецкий, – было бы, на наш взгляд, некорректно приписывать ее развитие исключительно воздействию “иррационального” русского менталитета. Есть целый ряд факторов, которые, несомненно, также возымели свое действие в данном случае: сохранение синтетического строя русского языка (включая падежную систему и постфикс *-ся*), слабое использование пассива (по сравнению с более анализированными индоевропейскими языками и особенно с английским), относительно свободный порядок слов, позволяющий ставить дополнение перед подлежащим (этот пункт можно считать следствием сохранения падежной системы), отсутствие формального подлежащего (некоторые ученые отказываются признавать конструкции с формальными подлежащими безличны-

ми, из-за чего сфера безличности в русском начинает казаться больше, чем она есть на самом деле), влияние финно-угорского субстрата» [Зарецкий 2007, с. 2–3]. Ср. также: «Многочисленность или практически полное отсутствие безличных конструкций есть, прежде всего, факт лингвистический, не имеющий ничего общего с какими-то категориями менталитета или национального характера. И хотя мы не можем исключить, что в имперсонале в какой-то мере отражено мировоззрение древних людей (как в этимологии слова можно иногда различить следы древней мифологии), это ещё не должно означать, что структуры эти формируют современный русский менталитет, а русский менталитет, в свою очередь, не дает исчезнуть этим структурам. Культурологические характеристики народов, объединенных одним языковым типом (синтетическим или аналитическим), слишком различны, чтобы приписывать тому или иному грамматическому признаку определенное культурологическое значение» [Зарецкий 2007, с. 97].

Как видим, данные грамматической типологии, сравнительно-исторических, а также социологических исследований свидетельствуют о неправомерности интерпретации языковых форм исключительно посредством культурологических объяснений. Подобные толкования часто оказываются субъективными и бездоказательными.

Так, среди личных конструкций актива, доминирование которых в языке обычно служит свидетельством свободной воли, активности, рационализма носителей этого языка, немало таких построений, которые очень трудно отнести к доказательствам «выделенности индивида» (А. Вежбицкая), контролирующего события и мыслящего логично и рационально. В одном ряду с распространенными в литературе лингвокультурологическими комментариями могло бы оказаться, например, утверждение, что наделение природных сил свойствами агенса представляет собой следы древних языческих верований, персонализирующего природные стихии мифологического мышления. См. англ. *The wind shattered the window* 'Ветер разбил окно'; *The fire melted the metal* 'Огонь расплавил металл'; In China, hail killed several people 'В Китае град погубил несколько человек' и т.п.

В том же духе использование безличных конструкций с нулевым «стихийным» подлежащим (Ø_{стихийн} *Ветром разбило окно*) можно было бы объяснять философским осмыслением природных сил как элементов Космоса, управляемых чем-то вроде индийского Брахмана или шопенгауэровской Воли. Почему бы также не предположить, что за синтаксическим нулем скрывается не таинственная неизведанная сила, а Природа со своими вселенскими физическими законами?

Типологические особенности языка и возможность или степень продуктивности в нем безличных синтаксических моделей находятся в непосредственной и тесной зависимости.

Проиллюстрируем это утверждение фактами болгарского языка.

Известно, что по сравнению с русским языком в болгарском безличные конструкции значительно менее распространены и не отличаются структурным разнообразием [Васева 1982, с. 181]. Значительная часть болгарских безличных построений (в основном конструкции с глагольными предикатами) относится к древнему языковому фонду и в большой степени фразеологизована.

Для языка с аналитизмом в системе именного склонения такого, как болгарский, особенно проблематичными оказываются безличные конструкции с переходными предикатами. Так как возможности выражения синтаксических отношений между компонентами предложения в таком языке ограничены, фраза стремится к словопорядку с фиксированными позициями для актантов. В нейтральной речи подлежащее предшествует прямому дополнению и занимает тематическую позицию. Постановка прямого дополнения, выраженного существительным, в позицию темы требует его дублирования местоименной клитикой, падежная форма которой эксплицирует синтаксические отношения. Такие конструкции характерны для разговорной речи. Ср.: *Ураган отнесе покрива* 'Ураган снес крышу' и *Покрива го отнесе ураган* 'Крышу снес ураган'.

Другую возможность тематизации прямого дополнения предоставляет конструкция пассива: *Покривът беше отнесен от ураган* 'Крыша была снесена ураганом'. Как известно, в языках с аналитическим строем пассив очень распространен, и болгарский язык в этом отношении не представляет исключения.

Вероятность того, что в языке с типологическими характеристиками болгарского безличная модель с транзитивными предикатами может быть продуктивной, невелика. Конструкции типа *Отнесе покрива* в отличие от русских *Снесло крышу* не имеют специфического маркера безличности и воспринимаются как построения с анафорическим нулем подлежащего: [Миналата седмица над градчето вилнееше ураган.] *Счупи прозорци на къщата. Отнесе покрива*. Ср: [На прошлой неделе над городком бушевал ураган.] *Разбил/ Разбило окна в доме. Снес/ Снесло крышу*.

Говоря об употреблении в болгарском языке безличных конструкций с глаголами механического воздействия и семантикой проявления

стихийных природных сил, И.С. Георгиев отмечает, что объект в подобных бесподлежащих построениях, как правило, представлен местоименной клитикой: *Повлече го; Отнесе я* [Георгиев 1990, с. 44]. Этот факт связан все с тем же анализмом в системе болгарского именного склонения. Винительный падеж клитики выражает синтаксические отношения. Существительное, формально не различающееся по падежам, не способно самостоятельно выполнять эту функцию. Вместе с тем безличные предложения с переходным глаголом физического воздействия типа *Повлече го* (где нулевое подлежащее не является анафорическим) никак нельзя отнести к распространенным в современном языке построениям. К факторам, влияющим на снижение продуктивности этой модели, И.С. Георгиев относит нечетко выраженную глагольной формой 2–3 лица безличность и возможность интерпретации отсутствия подлежащего как речевого эллипсиса [Георгиев 1990, с. 42].

Безагенсный пассив, так же, как и безличная конструкция, скрывающий каузатора действия, не предполагает неоднозначной интерпретации и не ограничивает возможностей тема-рематического членения (ср.: *Покривът беше отнесен* с подлежащим-темой и *Беше отнесен покривът* с подлежащим-ремой). Преимущества этой конструкции делают ее конкурентоспособной и широко употребительной.

Безличная модель с транзитивными предикатами находит ограниченное применение и при описании физического, психического и ментального состояния субъекта. Здесь используется небольшое число близких к фразеологизмам конструкций, как правило, с винительным падежом местоименной клитики: *Тресе ме 'Меня знобит'*; *Мързи ме 'Мне лень'* и под. Безличные предложения с переходным предикатом и партитивом экспериенцера в функции прямого дополнения, распространенные в русском языке (*Свело ногу; Ломит спину*), в болгарском языке не употребляются в силу уже указанной причины – невозможности формального разграничения позиций винительного и именительного падежей. Маркировать зависимую позицию партитива в данном случае не могла бы и местоименная клитика, так как она воспринималась бы как референциально соотношенная с самим экспериенцером, а не с его партитивом [ср. Георгиев 1990, с. 62]. В болгарских соотносительных конструкциях партитив занимает позицию подлежащего. Ср.:

Когда он сел, заломило позвоначник (Б. Полевой, Повесть о настоящем человеке) – *Когато седна, заболя го гръбначният стълб* (Б. Полевой, Повест за истинския човек, перевод К. Георгиевой).

Болгарская конструкция пассива является одним из основных функциональных эквивалентов русских безличных предложений с транзитивными предикатами. Эту констатацию хорошо иллюстрируют болгарские переводы русских текстов. Ср.:

*Сломав няколко дървеев, машина развалила се на части, но мгновением раньше Алексея **вырвало** из сиденья, **подбросило** в воздух (Б. Полевой, Повесть о настоящем человеке) – Като пречупи няколко дървета, самолетът се разби на части, но миг преди това Алексей **бе откъснат** от седалището и **подхвърлен** във въздуха (Б. Полевой, Повесть за истинския човек, перевод К. Георгиевой); Рядом с нею с корнем **вырвало** дубовое дерево (М. Булгаков, Мастер и Маргарита) – До нея един **дъб бе изтръгнат** из корен (М. Булгаков, Майстора и Маргарита, перевод Л. Минковой).*

Русские безличные предложения с творительным орудийным часто переводятся конструкциями трехчленного пассива, в которых русскому инструменталису соответствует агентивное дополнение, выраженное именной формой с предлогом *от*. Такая языковая концептуализация описываемой русским предложением ситуации уменьшает число ее участников, устраняя идею существования скрытого каузатора. Ср.:

*Секретаря МАССОЛИТа Берлиоза сегодня вечером **задавило** трамваем на Патриарших (М. Булгаков, Мастер и Маргарита) – Берлиоз, секретарят на МАССОЛИТ, тази вечер **е бил прегазен** на Патриаршиите **от трамвай** (М. Булгаков, Майстора и Маргарита, перевод Л. Минковой); **Вдруг горизонт залило** нестерпимо ярким **светом** (В. Пелевин, Чапаев и пустота) – **В този момент пустинята бе заляна от** нетърпимо ярка **светлина** (В. Пелевин, Чапаев и пустотата, перевод Б. Пенчева).*

В данном случае пассив, тематизирующий прямое дополнение, позволяет сохранить актуальное членение и словорасположение конструкций оригинала [ср.: Васева 1982, с. 116]. Если же в русском предложении дополнение находится в реме, переводчик обычно использует болгарскую конструкцию актива. При этом участник, выраженный русским творительным орудийным, переосмысливается в каузатора ситуации и занимает позицию подлежащего:

*...этим плащом **начало закрывать** вечеряющий небосвод (М. Булгаков, Мастер и Маргарита) – ...това **наметало почна да закрива** свечеряващия се небосклон (М. Булгаков, Майстора и Маргарита, перевод Л. Минковой).*

Надо заметить, однако, что конструкция актива может быть использована переводчиком и в случаях с русским дополнением-темой. Тогда в болгарском переводе рема предшествует теме:

Костер догорал, и угли затягивало седю золой (М. Булгаков, Мастер и Маргарита) – *Огънят догаряше и сива пепел покриваше въгленте* (М. Булгаков, Майстора и Маргарита, перевод Л. Минковой).

Другим функциональным эквивалентом русских безличных конструкций с переходными глаголами является болгарский декаузатив. Хотя декаузативация, в отличие от пассивизации, отражается на составе участников ситуации, и та и другая имеют общую коммуникативную цель – поместить в фокус внимания исходный пациенс. При этом пассив, понижая коммуникативный статус агенса/ каузатора ситуации, уводит его на периферию высказывания или представляет синтаксическим нулем, а декаузатив вообще устраняет этого участника из концепта ситуации.

Показательно, что в переводах русских текстов болгарский декаузатив заменяет русское безличное предложение преимущественно в тех случаях, когда идентификация каузатора ситуации, кодируемого синтаксическим нулем, проблематична. Ср.:

Через некоторое время вагон сильно тряхнуло (В. Пелевин, Спи) – *След известно време вагонът силно се разтресе* (В. Пелевин, Спи, перевод И. Попова); *...и сорванный его голос понесло над тысячами голов* (М. Булгаков, Мастер и Маргарита) – *...и пресекливиат му глас се понесе над хиляди глави* (М. Булгаков, Майстора и Маргарита, перевод Л. Минковой); *Его качало* (Б. Полевой, Повесть о настоящем человеке) – *Той се клатушкаше* (Б. Полевой, Повесть за истинския човек, перевод К. Георгиевой).

Когда в русском оригинале при безличной форме транзитивного глагола отсутствует прямой объект, для использования декаузативной конструкции переводчику приходится искать и эксплицировать пациенса описанной русским предложением ситуации:

И вот тут прорвало начисто, и со всех сторон на сцену пошли женщины (М. Булгаков, Мастер и Маргарита) – *Тогава изведнъж нещо се отприщи и от всички страни към сцената заприждаха жени* (М. Булгаков, Майстора и Маргарита, перевод Л. Минковой).

По семантическим или стилистическим причинам декаузативный дериват может оказаться менее предпочтительным, чем близкий ему по

смыслу невозвратный глагол. Кроме того, декаузативная деривация возможна далеко не ото всех переходных глаголов. Поэтому вместо декаузатива болгарский перевод очень часто содержит конструкции с непереходным невозвратным предикатом, в позицию подлежащего которых помещен пациенс представленной русским предложением ситуации. Эти болгарские конструкции, подобно декаузативу, описывают положения вещей, при которых (в отличие от тех, что представлены русским оригиналом) отсутствует внешний каузатор, а действие совершается «самопроизвольно»:

Седока трепало на сиденье (М. Булгаков, Мастер и Маргарита) – Пътникът подскачаше на седалката (М. Булгаков, Майстора и Маргарита, перевод Л. Минковой); К конным фигурам прибавилось еще несколько, но затем одну из них швырнуло куда-то в сторону, в окно дома... (М. Булгаков, Белая гвардия) – Към конниците се присъединиха още няколко, но после един от тях излетя някъде встрани, към един прозорец... (М. Булгаков, Бялата гвардия, перевод Л. Минковой).

Экспериментальные ситуации, передаваемые русскими конструкциями с метафорическими сочетаниями безличной формы переходного или непереходного глагола и творительного падежа имени типа *обдало запахом / восторгом, повеяло холодом / унынием*, также теряют при переводе на болгарский язык своего каузатора. В переводном тексте внимание фокусируется на экспериментере, находящемся в позиции подлежащего:

...у многих в груди повеяло холодом (В. Пелевин, Греческий вариант) – ...много от тях усетиха студен повей в гърдите си (В. Пелевин, Гръцки вариант, перевод И. Попова); Земята шла к ней, и Маргариту уже обдавало запахом зеленеющих лесов (М. Булгаков, Мастер и Маргарита) – Земята се приближаваше към нея и Маргарита вече усещаше дъха на раззеленилите се гори (М. Булгаков, Майстора и Маргарита, перевод Л. Минковой).

В позицию подлежащего при переводе часто продвигается и участник, выраженный в русской конструкции творительным орудийным:

...и рука трясется, и в груди холодом стискивает (Б. Акунин, Пелагия и белый бульдог) – ...ръцете ми треперят и отвътре ме сковават мраз (Б. Акунин, Пелагия и белият бульдог, перевод С. Бранц).

Выше уже говорилось о том, что безагенсный пассив позволяет представлять ситуации без указания на их каузатора. Декаузатив вообще устраняет каузатора из числа участников ситуации. Поэтому болгарские

конструкции двухчленного пассива и декаузатива широко используются переводчиками в качестве соответствий русских предложений с нулевым подлежащим, референциальное значение которого установить трудно. Когда по каким-либо причинам, обычно семантического порядка, пассив и декаузатив как соответствия отвергаются, переводчику приходится «выдумывать» каузатора, помещая его в позицию подлежащего:

Этого свиста Маргарита не услышала, но она его увидела в то время, как ее вместе с горячим конем бросило сажней на десять в сторону (М. Булгаков, Мастер и Маргарита) – Маргарита не чу това свиркане, но тя го видя, докато някаква вълна я отхвърляше заедно с врания ѝ кон на десетина сажена встрани (М. Булгаков, Майстора и Маргарита, перевод Л. Минковой).

Довольно часто, однако, восстановление каузатора не представляет проблем. В этих случаях конструкции с каузатором-подлежащим составляют серьезную конкуренцию пассиву. Ср.:

Не иначе как с Нижнего принесло (Б. Акунин, Пелагия и белый бульдог) – Сигурно от Нижни ги е донесла водата (Б. Акунин, Пелагия и белият бульдог, перевод С. Бранц); Она сжала пятками похудевшие в безумной скачке бока борова, и тот рванул так, что опять распоролось воздух... (М. Булгаков, Мастер и Маргарита) – ...и той така се понесе, че пак раздъра въздуха... (М. Булгаков, Майстора и Маргарита, перевод Л. Минковой).

Если в русской безличной конструкции предикат выражен непереходным глаголом, болгарский эквивалент с восстановленным участником в позиции подлежащего часто оказывается единственно возможным:

За печью зашевелилось, и послышалось щелканье семечка (Л. Толстой, Казаки) – Зад печката някой се размърда, чу се чоплене на семки (Л. Толстой, Казаци, перевод Г. Константинова); ...всюду пузырилось, вздувались волны... (М. Булгаков, Мастер и Маргарита) – ...навсякъде се вдигаха мехури, издуваха се вълнички... (М. Булгаков, Майстора и Маргарита, перевод Л. Минковой).

Сделаем несколько замечаний о болгарских соответствиях русских безличных предложений типа *Мне (хорошо) работается*.

Считается, что эквивалентами русских структур вроде *Мне работается* являются болгарские безличные конструкции типа *На мен ми се работи / Работи ми се*. На самом деле между русской и болгарской моделью имеются существенные несоответствия¹.

¹ Подробно о семантике и ограничениях на продуктивность русской и болгарской конструкций см. в работе Е.Ю. Ивановой «Уникальна ли русская конструкция *Мне не работается?* (или О чрезмерном усердии в поисках национально-языковой специфики)» [Иванова 2007].

В отличие от русских, в болгарских конструкциях нет позиции для оценочного компонента. Их семантика не включает пресуппозицию ‘Х делает Р’ и не соответствует толкованию русской конструкции *Мне (хорошо) работается*, предложенному Ю.Д. Апресяном в: [Апресян 2006, с. 39].

Оценочный компонент может включать другая болгарская безличная конструкция, а именно субъектный имперсонал: *С него добре се работи* ‘С ним хорошо работать’, букв. ‘С ним хорошо работается’. В болгарском субъектном имперсонале позиция для семантического субъекта отсутствует и экспликация экспериенцера в дательном падеже невозможна. Ср.: *С ним мне хорошо работается* – **С него добре ми се работи*.

В болгарском языке структурно и семантически разграничены субъектный имперсонал, способный представлять ситуации с достаточно высокой степенью агентивности, и аффективный имперсонал, имеющий позицию датива и описывающий экспериенциальные ситуации. Ср.: *С него добре се работи* (субъектный имперсонал) и *На мен ми се работи / Работи ми се* ‘Мне хочется работать’ (аффективный имперсонал).

В русском языке модальность непроизвольного желания / нежелания и семантика успешности/ неуспешности протекания процесса выражаются одной и той же синтаксической структурой – предложением типа *Мне работается*. На протяжении всей истории русской синтаксической науки эта конструкция неизменно вызывала интерес исследователей. Трудности в ее описании вызваны, как кажется, именно семантической диффузностью модели, совмещением в ней значений, в других языках выражаемых различными формальными структурами.

Таким образом, русским предложениям с оценочным компонентом и невыраженным (нулевым) субъектом (*С ним хорошо работается*) в болгарском языке соответствуют конструкции субъектного имперсонала (*С него добре се работи*). Ср.:

Уютно жилось в крохотном домике на окраинной улице ! (Б. Полевой, Повесть о настоящем человеке) – Хубаво се живееше в мъничката къщичка на крайната уличка! (Б. Полевой, Повесть за истинския човек, перевод К. Георгиевой).

Если в русской конструкции замещена позиция дательного субъекта, а также в тех случаях, когда синтаксический нуль соотносится с определенным референтом, в качестве болгарского функционального соответствия выступает личное предложение:

Невесело же живется им здесь... (Б. Полевой, Повесть о настоящем человеке) – *Да, не живут весело тут...* (Б. Полевой, Повест за истинския човек, перевод К. Георгиевой); *Пелагии легче думается с вязанием в руках* (Б. Акунин, Пелагия и белый бульдог) – *Тя по-лесно мисли с плетка в ръка* (Б. Акунин, Пелагия и белият бульдог, перевод С. Бранц); *Мне всегда как-то лучше работается за городом, в особенности весной* (М. Булгаков, Мастер и Маргарита) – *Не знам защо, но винаги по ми върви работата извън града, особено пролетно време* (М. Булгаков, Майстора и Маргарита, перевод Л. Минковой).

Говоря об ограниченном употреблении в болгарском языке безличных конструкций и делая выводы о несоразмерности русской и болгарской сфер синтаксической безличности, не следует забывать о том, что отдельные бесподлежащие модели, такие как субъектный имперсонал, почти не встречающийся в русском языке, и аффективный имперсонал, в болгарских текстах широко распространены и в высшей степени продуктивны. Объяснение этому факту следует искать не в особенностях болгарского менталитета, а в том, что структурные характеристики языка не являются сдерживающим фактором в распространении этих конструкций.

Итак, безусловная связь структурных форм языка с определенным способом концептуализации внешнего и внутреннего мира кажется нам менее прямолинейной и более сложной, чем она предстает в некоторых лингвокультурологических изысканиях. Кроме того, этимологически реальная, такая связь на протяжении веков может быть полностью утрачена. Беспристрастный исследователь не станет серьезно утверждать, что усвоение ребенком конструкций типа *Здесь хорошо работается; Нельзя курить на голодный желудок; В комнате убрано; Ни пройти ни проехать; Закусить бы; Обедать, пожалуйста* и т.п. делает из него пассивного, смиренного перед судьбой индивида с иррациональным мировосприятием, а не просто позволяет ему экономным способом выражать референциальный статус субъекта и модальные или экспрессивные смыслы.

Русский язык со своим синтетическим строем и свободным порядком слов обладает огромными возможностями передачи многообразия и сложности мира, выражения многочисленных нюансов модальных и оценочных значений. Безличные структуры являются значимой частью богатого русского языкового инструментария.

Литература

- Апресян Ю.Д. Основания системной лексикографии // Языковая картина мира и системная лексикография. – М., 2006.
- Васева И. Теория и практика перевода. – София: Наука и искусство, 1982.
- Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М., 1996.
- Георгиев И.С. Безличные предложения в русском и болгарском языках. – София, 1990.
- Гиро-Вебер М. Эволюция так называемых безличных предложений в русском языке XX века // Гиро-Вебер М., Шатуновский И. Русский язык: пересекая границы. – Дубна, 2001.
- Зарецкий Е.В. Безличные конструкции в русском языке: культурологические и типологические аспекты // Балканская русистика. – 2007. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.russian.slavica.org/download48.
- Иванова Е.Ю. Уникальна ли русская конструкция *Мне не работается?* (или О чрезмерном усердии в поисках национально-языковой специфики) // Филология и человек. – 2007. – №3.
- Guiraud-Weber M. Еще раз о русском генитиве отрицания: взгляд со стороны // *Russian Linguistics* 27. – Kluwer Academic Publishers, Printed in the Netherlands, 2003.

«СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА...»

(опыт сравнения рекламы и тоталитарного искусства)

Часть II

В.Т. Плахин

«Убойная сила»

Стремление к абсолютной герметичности знаковых систем в тоталитарном искусстве и рекламе отнюдь не самоценно. Знак должен прочитываться однозначно, поскольку обязан служить надежным агентом формирования вполне определенных «деятельностных смыслов» как внутренних регулятивов жизнеосуществления человека [Леонтьев 1999, с. 112–113]. Эстетическая же организация данных систем выглядит глубоко вторичной перед лицом их генеральной задачи по внедрению нормативных моделей социального действия. В ткань концепции социалистического реализма эта тема органически вплелась как духовное наследие идейно-художественных воззрений русских революционных демократов. Первоначально в их критических работах предельно четко оформилась мысль о приоритете «идейного» начала над началом «художественным». «Художественность, – писал Н.Г. Чернышевский, – состоит в соответствии формы с идеею; потому, чтобы рассмотреть, каковы художественные достоинства произведения, надобно как можно

строже исследовать, истинна ли идея, лежащая в основании произведения. Если идея фальшива, о художественности не может быть и речи, потому что форма будет также фальшива и исполнена несообразностей» [Цит. по: Кондаков 1992, с. 92]. То, что традиционно связывалось с представлениями о художественности, собственно литературными достоинствами произведения, Чернышевский язвительно называл «ненатуральной экзальтацией», «приторностью», «миловидностью», «грациозностью» и «мадригальностью» [Кондаков 1992, с. 78]. Самоценная эстетика «чистого искусства» в критике Чернышевского, Добролюбова и позднее Писарева заслуживала сарказма и «чуть ли не площадных насмешек», именуясь «достоинствами отделки бубенчиков» «на хорошо обточенных игрушках» [Кондаков 1992, с. 94, 95]. Затем окончательно оформился тезис о революционно-преобразующей силе литературы и литературной критики, которые впервые на русской почве обрели статус контркультуры [Кондаков 1992, с. 118]. По мнению И. Кондакова, «писаревская критика <...> представляет собой именно ультиматум всей официальной культуре, официозу и общественной жизни» [Кондаков 1992, с. 117]. «Таким образом, в истории русской культуры соперничество понятийного и образного мышления <...> постепенно заместилось противоборством слова и дела, в котором дело постоянно одерживало верх и подчиняло себе слово как свою специфическую разновидность» [Кондаков 1992, с. 119].

В этой связи очень показательны воспоминания К.М. Симонова о И.В. Сталине как высшей партийной «литературоведческой инстанции»: «Наверное, у него внутри происходила невидимая для постороннего глаза борьба между личными, внутренними оценками книг и оценками их политического, сиюминутного значения, оценками, которых он несколько не стеснялся и не таил их. Для него, например <...> не составляло проблемы дать одновременно премии первой степени <...> роману <...> который ему очень нравился именно как художественное произведение, и роману <...> который ему совсем не нравился <...> но который он считал <...> важным <...>. Так он <...> высказался о романе Лациса <...>: “Этот роман имеет художественные недостатки <...> но он будет иметь большое значение для Прибалтики и, кроме того, для заграницы”» [1990, с. 179].

Мысль о том, что книга является прежде всего «инструментом», «орудием», «заменой классового террора» [Добренко 1997, с. 33, 197, 231], традиционно выражалась в советской искусствоведческой риторике посредством военной терминологии. На «фронте литературы» «поэту-

солдату» [Хрущев 1963а, с. 197] надлежало «сражаться по-боевому», не бояться вступать «в соприкосновение с противником» и «мощным идейным оружием» «разить врага без промаха» [Добренко 1993, с. 35, 36].

В речи на III съезде советских писателей Н.С. Хрущев так отозвался о тех из них, кто «в идейной драке» с «ревизионистами» самоотверженно отстаивал «линию партии»: «Некоторые из литераторов рьяно ринулись на дот “противника”, и, выражаясь языком фронтовых терминов, их можно было бы назвать автоматчиками» [1963б, с. 86]. Далее, говоря о строительстве коммунизма «широким фронтом», генсек нашел метафорическое определение еще более принципиального и масштабного свойства: «Думаю, товарищи, что в нашем общем наступлении деятельность советских писателей можно сравнить с дальнобойной артиллерией, которая должна прокладывать путь пехоте. Писатели – это своего рода артиллеристы. Они расчищают путь для нашего движения вперед, помогают нашей партии в коммунистическом воспитании трудящихся» [Хрущев 1963а, с. 109–110].

В данном вопросе рекламная «методология» и партийно-государственная идеология советского прошлого демонстрируют почти геометрически точный параллелизм. «...Блистательная идея только тогда блистательна, когда выражает то, что нужно», – пишет А. Кромптон [1998, с. 178]. По мнению К. Бове и У. Аренса, «нет более быстрого способа забракковать рекламное объявление, чем написать блестящий шедевр, не имеющий ничего общего со стратегией рекламной кампании» [Бове, Аренс 1995, с. 257]. Нарушение главенства «полезного» над «прекрасным» в рекламном дискурсе («Реклама – это когда “покрасившее”») А.П. Репьев критикует со страстью, которой могли бы позавидовать и революционные демократы, и большевики [Репьев 2007, с. 43]. «Болезнь эта, – пишет он, – расцветает пышным цветом на почве заблуждения, что реклама является искусством. <...> Если реклама – искусство, то в такой же мере им можно считать хорошую мебель, одежду, обувь, токарный станок, самолет, танк и т.д. <...>. ...красота должна быть всего лишь <...> побочным продуктом <...> но не самоцелью. Красота должна работать на общую идею – продавать. Я не против дизайнеров <...>. Но их можно сравнить с атомной энергией. Неконтролируемая атомная энергия дает Хиросиму, неконтролируемый дизайнер убивает рекламу» [Репьев 2007, с. 43].

Таким образом, единство телеологических установок делает социалистический реализм и рекламный имажинизм «братьями по оружию». Как сказал бы Ф. Бегбедер, «их выдает воинственный лексикон» [Бегбедер 2006, с. 40].

Любопытно, что, пока методологи рекламного дела продолжают фантазировать на тему его мифологической природы [Торичко 2001, с. 7], постсоветская художественная литература трезво усматривает в нем совсем другую «генетику». «Я все четче осознавал происходящее вокруг, – читаем у В. Пелевина. – Наткнувшись на репортаж о сезоне променад-концертов в Архангельском или на статью о втором фестивале подмосковных яхт на озере Гадючья Мгла, я уже не робел от сознания собственного убожества, а понимал, что по мне ведут огонь идеологические работники режима, новые автоматчики партии, пришедшие на смену политрукам и ансамблям народного танца» [Пелевин 2006, с. 84].

«Сын белошвейки и лекальщика...»

Подчеркнем, что дискурс рекламы и дискурс тоталитарной культуры являются не просто «товарищами» по оружию, а именно «братьями», причем «братьями» родными. Речь здесь идет об их «кровном» родстве, об общности их «отцовского» и «материнского» начал. Оба они рождены в союзе «ян» (как маскулинного веления власти) и «инь» (как феминного согласия массы, адаптирующей властный импульс). По мнению Е. Добренко, «исток социалистической эстетики не находятся в традиционной “середине” противоположных позиций. Они – не между ними, но в их синтезе. Социализм – встреча и культурный компромисс двух потоков – массы и власти» [Добренко 1997, с. 126]. «Не властью и не массой рождена была культурная ситуация социализма, но *властью-массой как единым демиургом*. <...> Она была рождена *одновременно* – эстетическими горизонтом и требованиями масс; – имманентной логикой революционной культуры; – заинтересованностью власти в консервации массовых вкусов и “организационно-политическими мероприятиями” властных структур по оформлению нового искусства и воспроизводству реципиента этого искусства. <...>»

Сама эта ситуация *перерождает реципиента в автора*» [Добренко 1997, с. 108–109].

Формовка читателя писателем необходимым образом дополняется формовкой писателя читателем. Ожидания последнего, его герменевтический горизонт, «особая система» его «эстетических требований» становятся условием и контекстом развертывания тоталитарного дискурса [Добренко 1997, с. 115]. Один из лозунгов социалистической критики гласил: «Комсомольский читатель должен предъявить свой счет комсомольскому писателю и комсомольским издательствам» [Добренко 1997, с. 115].

«На призыв “предъявить требования”, – пишет Е. Добренко, – массы откликнулись довольно живо. Часто корявым языком они сформулировали <...> свои требования новой культуре и *фактически соорудили ее каркас*» [Добренко 1997, с. 115]. Действительно, «тот, кто пишет, всегда обязан задаваться вопросом, о чем же его просили писать, в таком случае он пишет под диктовку некоего адресата, это так тривиально» [Деррида 1999, с. 235].

Ценной в обсуждаемом контексте представляется следующая метафора Н.К. Крупской: «Дело библиотеки поставлять миску со щами – сокровищницу знаний – владельцам ложек, людям, владеющим техникой чтения... Однако это лишь часть задачи в области библиотечного дела. Щи щам – рознь. Надо варить их не из сена и трухи, а из достаточно питательных веществ, надо сделать варево удобоусвояемым, вкусным» [Цит. по: Добренко 1997, с. 173]. Короче говоря, тоталитарная мощь и простота литературной кухни невозможны вне попыток угодить вкусовым привычкам читательской массы.

Аналогично реклама, стремящаяся управлять потребительским спросом, включает в процесс производства своих текстов семиозис «целевых аудиторий». Здесь нет доверия к парадигме общения, в которой «не дано предугадать, как слово наше отзовется», а «сочувствие дается» как «благодаря». В поисках «верной интонации, которую надо использовать» [Кромптон 1998, с. 54], рекламист изначально присваивает гипотетическую модель смыслопорождения того, к кому обращается. Это может быть миссис Джонс, что «живет через два дома» от него [Кромптон 1998, с. 52, 54], или миссис Блоггс «из какого-нибудь захудалого городишки», которую «полностью озадачивают» любые культурные феномены, «поднимающиеся выше уровня улицы» [Кромптон 1998, с. 191–192], или «беззаботный» Джо Шилдс, который «любит бывать на вечеринках», «мечтает поехать учиться на адвоката» и в колледже всегда демонстрирует успехи «выше средних» [Бове, Арнс 1995, с. 150].

По мнению некоторых исследователей, в рекламе как типичном случае «иерархичной коммуникации» именно потребитель «создает и утверждает правила, по которым происходит общение», так как является «сильным участником» процесса взаимодействия и находится на вершине коммуникационной «пирамиды» [Кафтанджиев 2005, с. 22]. В связи с этим желание «считаться с характеристиками адресатов» рассматривается в качестве центрального (если не единственного) звена таких значимых для рекламистики коммуникационных концепций, как теория аккомодации, эмпатии и «риторической чувствительности» [Кафтанджиев 2005, с. 176, 179, 180].

Или, как попросту советует копирайтерам А.П. Репьев, который всей душой презирует «сущностную проблематику риторики и неориторики» и «словоблудие» вообще: «...смотрите на все в своей рекламе глазами потенциального покупателя ...» [Репьев 2007, с. 123, 161]. «Он <...> хотел бы, чтобы информация давалась ему на ЕГО уровне понимания данного <...> товара, без заумностей, но и без банальностей; чтобы она разговаривала с ним на ЕГО языке, чтобы она демонстрировала понимание ЕГО проблем» [Репьев 2007, с. 95].

Примечательно, что настройка на герменевтическую волну «другого» не раз уточняется. Так, в ходе «предварительного опробования» рекламы корректировке подвергаются не только такие «переменные» «творческого комплекса», как рынки, бюджет, сроки проведения мероприятий, но и сами сообщения и предлагаемые ими мотивировки покупательского спроса [Бове, Арнс 1995, с. 207–208]. «...Большинство этих элементов, – пишут У. Бове и К. Арнс, – поддается контролю со стороны рекламодателя, который может добавлять, убирать или видоизменять их» [Бове, Арнс 1995, с. 208]. Таким образом, особенности дискурса рекламной манипуляции продиктованы не только манипулятором, но и манипулируемым, мистифицирующим в известном смысле самого себя. А формовка рекламной аудитории рекламистом сопровождается формовкой рекламиста рекламной аудиторией. Креатор оказывается заложником наличного герменевтического спроса своего адресата, модифицировать который с «управленческой» точки зрения просто бесхозяйственно. Действительно, зачем давать импульс к непредсказуемым мутациям того объекта, который хоть в какой-то мере освоен? Отсюда закономерный пафос литературного alter ego Ф. Бегбедера, самого «раскрученного» ренегата от рекламы (те, кто в профессии, в подобный пафос публично не впадают): «Вы пытаетесь предложить <...> нечто забавное, говорящее хоть о каком-то уважении к людям и способное чуточку поднять их над самими собой, потому что надо же проявить хоть минимальную вежливость, когда врзаешься со своей рекламой в их телесериал. Надо – но это запрещено. <...> Здесь царит Ее Величество Стагнация...» [Бегбедер 2006, с. 51–52, 53]. Что ж, говоря словами Е. Добренко, «мероприятия властных структур» по «воспроизводству реципиента» – налицо.

Разумеется, в данной ситуации нельзя всерьез говорить о настоящем господстве рекламного адресата, находящегося якобы на вершине коммуникационной «пирамиды». Герменевтические уступки, на которые идут авторы рекламного сообщения, – просто маневры тактического

свойства, предполагающие сохранение в неприкосновенности стратегических командных высот. Схема манипуляции знакома: «...маскировка и контроль – и, как следствие, власть» [Пелевин 2006, с. 57]. Согласно древнеиндийской традиции, невеста до тех пор не пускает жениха на порог, пока на вопрос «кто там?» не дожидается ответа «это ты», знаменующего полное слияние влюбленных душ. Реклама, добываясь взаимности от своей аудитории, готова сколь угодно радикально и искусно имитировать утрату собственной смысловой идентичности. Однако результатом такого ментального «слияния и поглощения» становится не «долгая счастливая жизнь», а медовый месяц консюмеризма, стремительно пролетающий под звуки популярного «свадебного гимна»:

Как бы тебе повезло –
Моей невесте.
Завтра мы идём
Тратить все свои,
Все твои деньги
Вместе.

«Чего-то нет, чего-то жаль...»

И, наконец, общим моментом для соцреалистического искусства и рекламы является подспудное чувство глубокой неудовлетворенности результатами творческого процесса, особенно горькое оттого, что неважные всходы вырастают на методологически верно засеянном смысловом поле. Уже на первом Всесоюзном съезде советских писателей во всеуслышание звучали слова недоумения по поводу несоответствия между высочайшей идейной оснащённостью писательского труда и скромностью (если не убожеством) художественных свершений. Так, Л. Соболев задавался вопросом, почему, несмотря на то, что партия и правительство отняли у писателей право «писать плохо», а взамен дали такое «оружие», как «философию пролетариата» и метод социалистического реализма, литераторы не могут владеть этим «оружием» так, чтобы оно в их руках «разило по-настоящему» [Первый Всесоюзный съезд советских писателей 1990, с. 204]. В свою очередь, Л.М. Леонов признавался: «мы все еще не научились писать словами, которые взрывались бы на бумаге, которые были бы топливом для самого мощного двигателя в нашей стране – коллективного сердца строителей социализма» [Первый Всесоюзный съезд советских писателей 1990, с. 152].

Тогда же заговорили (правда, как о казусе, о результате писательской лени, неосведомленности, торопливости [Первый Всесоюзный съезд советских писателей 1990, с. 204, 440, 443, 538]), что подход к челове-

ку как к функции на определенном этапе и участке социалистического строительства чреват появлением безжизненных литературных образов. «...Теперь решают оживить рассказ об ударнике или о МТС размеренно вставленными аккуратными любовными сценами, – иронизировал И. Эренбург. – Но манекены остаются манекенами, их не превратит в людей ни рюмка водки, ни два-три дозированных поцелуя, ни скучная паечная слезинка» [Первый Всесоюзный съезд советских писателей 1990, с. 183].

«...На сцене наши герои бледноваты, – сожалел А. Е. Корнейчук о метаморфозах, которые переживают люди, попавшие в пьесу прямо с ударной стройки, – они <...> удивляются каждую секунду, говорят об энтузиазме, а зрителю скучно» [Первый Всесоюзный съезд советских писателей 1990, с. 443].

«Неважно получилось с электростанционной поэмой т. Сельвинского, – критически отмечал А.А. Жаров. – <...> В этой поэме правильно описан процесс производства лампочки и отношения людей этого производства. Но <...> читатель <...> от поэзии <...> требует поэтического образа, поэтических обобщений. Эти образы и обобщения поэт в данном случае подменил риторикой, к тому же чрезвычайно манерной, тяжеловесной, косноязычной» [Первый Всесоюзный съезд советских писателей 1990, с. 538].

К.А. Тренев с сочувствием цитировал «Комсомольскую правду», писавшую в день открытия съезда о том, что молодые героини-комсомольцы в целом ряде пьес – это «либо ходульные схематические образы, либо <...> вечно улыбающиеся дураки <...>» [Первый Всесоюзный съезд советских писателей 1990, с. 440].

Б.А. Лавренев под смех и аплодисменты передавал залу слова, сказанные ему в «интимном разговоре» комсомольским вожаком т. Косаревым: «...почему вы все пишете о любви как кастраты или ветеринары?» [Первый Всесоюзный съезд советских писателей 1990, с. 432–433].

Комплекс кастрации, ощущение «изъяна, неустранимой *нехватки*» [Барт 2001, с. 85] в равной мере присущи и рекламным рефлексиям. Негативная оценка извне («убожество рекламы в целом», как за многомиллионную армию недоброжелателей высказался Ж. Деррида [1999, с. 366]) регулярно дополняется «самобичеванием» креаторов. «Блестящая идея, – пишет Д. Огилви, – присутствует в одной из сотни рекламных кампаний, и то вряд ли. За всю жизнь мне посчастливилось найти не больше двадцати» [Тайны рекламного двора 1992, с. 17–18].

А.П. Репьев типичными проблемами рекламы считает неправдоподобие, «увлечение идиотизмом» («идиотский сюжет, идиотский текст, идиотские голоса» в стиле непритязательных комедий), «рекламщину» (бахвальство, злоупотребление словами превосходной степени) и «сюсюканье» в расчете на «впавших в детство дядей и тетей» [Репьев 2007, с. 159, 212]. К числу этих проблем относится и синдром дежа вю: «рекламные материалы написаны словно под копирку», поэтому у человека, сканирующего рынок «в поисках лучшего варианта», «на второй или третьей фирме» складывается впечатление, что вроде бы он «это уже видел и читал» [Репьев 2007, с. 160].

Правда, все эти недостатки рекламного дискурса А.П. Репьев объясняет дурным влиянием конкурсов рекламы, нерадивостью рекламистов и их неоправданным отношением к публике как к скопищу «придурков» [Репьев 2007, с. 159–160]. Другими словами, вопрос из плоскости объективной детерминации «негатива» переводится в плоскость низкой результативности субъективных усилий и снимается при помощи совета: «Работать лучше надо!». Так, синдром «где-то уже виденного», по мнению А.П. Репьева, вовсе не неизбежен, так как «серьезный анализ фирм и их продукции может выделить у них уникальные особенности. Но создатели <...> рекламы не могут или не хотят до них докапываться» [Репьев 2007, с. 160]. «Если бы вдруг оказалось, – назидательно развивает свою мысль А.П. Репьев, – что ученые открыли какие-то уникальные свойства в *Pepsi*, то, смею вас уверить, фирма на время забыла бы о поколении, которое чего-то там выбирает, и во все трубы трубила бы о волшебном свойстве своего напитка» [Репьев 2007, с. 184]. (Как говорится, «если б гимназистки по воздуху летали, то все бы гимназисты летчиками стали».)

На самом деле попытка найти сущностные различия там, где они стремятся к исчезновению, – просто-напросто утопия. И это справедливо сегодня не только по отношению к йогуртам, жевательной резинке и газированным напиткам, но и продукции высоких технологий. «Возьмем рынок США, где ежегодно продаются миллионы машин, – пишет журнал «Автопилот». – В одном автомобильном сегменте покупатель может выбирать среди десятков моделей самых разных фирм. <...> Платформа у многих моделей одинаковая, стандартный набор двигателей... Просто немного разная внешность и самое главное – имидж восприятия» [Мы вернемся после рекламы 2003, с. 78]. «Все дело в восприятии, – «вторит» знаменитый американский рекламист Джордж Лоис. – Можно всю жизнь, как я, проработать в рекламе и только в ред-

ких случаях рекламировать продукт, который действительно лучше других» [Хьюз 2006, с. 124].

Необходимость строить «имидж восприятия» на фундаменте «общего места» усугубляется требованием делать это в предельно понятной для миллионов форме. Как тут не впасть в идиотизм изобретения банальных «шоу-эффектов» [Кромптон 1998, с. 39], одинаковых уже тем, что в равной мере мощно демонстрируют «апофеоз беспочвенности»? И как рекламисту справиться с чувством творческой неудовлетворенности, как суметь состояться в профессии?

«Необходима способность, – советует А. Кромптон, – перестать обманывать себя тем, что ваши лучшие рекламные объявления заканчивают жизнь в мусорной корзине, когда на самом деле лучшие – это те, которые увидели свет. (А те, другие – их нет и в помине.)» [Кромптон 1998, с. 174–175]. Конечно, довольно бессмысленно спорить о том, что лучше: то, что есть, или то, чего как бы и нет. Здесь важна самооценка рекламных «творцов», волей-неволей диагностированная А. Кромптоном и выразившаяся позже в одной из десяти заповедей креатора: «Реклама – единственное ремесло, где работнику платят за то, чтобы он работал хуже» [Бегбедер 2006, с. 73–74]. Увы, как видим, не единственное.

Таким образом, эффект эмоционально-эстетической неполноценности, своего рода «сердечной недостаточности» в произведениях тоталитарного искусства и рекламы – это запрограммированная неожиданность, закономерный итог реализации предзаданных стратегий. Л. Кассиль говорил: «Когда человек прыгает с парашютом затяжным прыжком, ему приходится петь, чтобы уравновесить внешнее давление изнутри. Я думаю, что это правило для литературы никак не годится. Нельзя петь, когда <...> давит снаружи. Нужно петь тогда, когда, наоборот, из тебя рвется большой напор» [Первый Всесоюзный съезд советских писателей 1990, с. 171].

Литература

- Барт Р. S/Z. – М., 2001.
 Бегбедер Ф. 99 франков. – М., 2006.
 Бове К., Арнс У. Современная реклама. – Тольятти, 1995.
 Деррида Ж. О почтовой открытке от Сократа до Фрейда и не только. – Минск, 1999.
 Добренко Е. «Запущенный сад величин» (Менталитет и категории соцреалистической критики: поздний сталинизм) // Вопросы литературы. – 1993. – Вып. I.
 Добренко Е. Формовка советского читателя. – СПб., 1997.
 Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации. – М., 2005.

- Кондаков И. Покушение на литературу (О борьбе литературной критики с литературой в русской культуре) // Вопросы литературы. – 1992. – Вып. 2.
- Кромптон А. Мастерская рекламного текста. – М., 1998.
- Леонтьев Д.А. Психология смысла. – М., 1999.
- Мы вернемся после рекламы // Автопилот. – 2003. – Апрель. – №4 (109).
- Пелевин В.О. Амфир В. – М., 2006.
- Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934: Стенографический отчет. – М., 1990.
- Репьев А.П. Мудрый рекламодатель. – М., 2007.
- Симонов К.М. Глазами человека моего поколения: Размышления о И.В. Сталине. – М., 1990.
- Тайны рекламного двора. Советы старого рекламиста: Дэвид Огилви и другие о рекламе. – М., 1992.
- Торичко Р.А. Реклама как мифологическая коммуникативная система: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Барнаул, 2001.
- Хрущев Н.С. Высокая идейность и художественное мастерство – великая сила советской литературы и искусства. *Речь на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства 8 марта 1963 года* // Хрущев Н.С. Высокое призвание литературы и искусства. – М., 1963 (а).
- Хрущев Н.С. Служение народу – высокое призвание советских писателей. *Речь на III съезде писателей 22 мая 1959 года* // Хрущев Н.С. Высокое призвание литературы и искусства. – М., 1963 (б).
- Хьюз Дж. Человек, утопивший Энди Уорхола // Esquire. – 2006. – Ноябрь. – №16.

СТИХОТВОРЕНИЕ «ГЛАГОЛЫ» КАК ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА И. БРОДСКОГО

Н.И. Клешина

Стремление к самоопределению в пространстве мировой поэзии, в литературном процессе своего времени характерно для начала творческого пути каждого поэта. Вопросы о смысле и цели жизни, собственном предназначении, как правило, занимают центральное положение в проблемном поле лирики молодого поэта.

В русской поэзии сложилась традиция создания «программных стихотворений» – их классическим образцом принято считать «Пророка» А.С. Пушкина, – а также «итоговых стихотворений», в которых осваивается тема памятника, разработанная Горацием и переосмысленная в отечественной поэзии М.В. Ломоносовым, Г.Р. Державиным, А.С. Пушкиным, В.В. Маяковским и другими поэтами. В масштабе русской культуры эта традиция имеет особое значение. Она свидетельствует о сложившемся в русской литературе подчеркнуто ответственном отношении художника слова к своему творчеству, оцениваемому с позиций

миссионерства, проповедничества и служения одновременно. В ней также получает развитие принцип диалога, свободно объединяющий в пространстве культуры поэтов разных эпох. В границах индивидуальной биографии эта традиция воспринимается как разработка поэтом программы в начале своего творческого пути и подведение итогов на его завершающем этапе. Часто судьба поэта оказывается не только созвучной его творческим устремлениям, но и predetermined ими.

И. Бродский в ранней поэзии настойчиво стремится обозначить вектор своего собственного пути. Целый ряд стихотворений этого периода – «Пилигримы» (1959), «Глаголы» (1960), «Я памятник воздвиг себе иной» (1962) – свидетельствуют о том, что он вступает в диалог с поэтами разных эпох: Пушкиным, Мандельштамом, Маяковским, Пастернаком, включая современников, воспевающих советское общество; переосмысливает сформулированные ими ценностные ориентиры и полемически заостряет свою позицию.¹ Ему уже тогда были близки идеи поэтов начала века – Т.С. Элиота, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой, – которые мыслили язык как сферу бытия поэта. Именно в ней он пытается найти собственное место.²

Стихотворение «Глаголы», написанное в ранний период творчества, в 1960 году, вполне обоснованно может рассматриваться в качестве программного, как поэтическое кредо Бродского.

На программный характер стихотворения указывает уже его заглавие. Оно является исчерпывающим указанием на источник смыслопорождения данного поэтического текста. Кроме того, в нем заявлен основной лирический образ и намечена исходная лирическая ситуация.

В слове *глаголы*, вынесенном в заглавие, содержатся два основных значения: архаическое – слово, речь³ – и современное, лингвистическое –

¹ В семантике образного ряда стихотворения «Пилигримы» (храмы, мир, Рим, пилигримы, дорога, солдаты) очевидны аллюзии на стихи Мандельштама «Пилигрим», «По-сох», «Стихи о неизвестном солдате» и Пастернака «Из суевья». На фоне полемики с традицией освоения темы «памятника» в русской поэзии в стихотворении «Глаголы» наиболее явные переключки с Пушкиным и Маяковским. В стихотворении «Я памятник воздвиг себе иной», несмотря на вынесенную в название и зачин, то есть поставленную в сильную текстовую позицию, цитацию из Пушкина, обозначено авторское противостояние поэтам-современникам, ориентирующимся на официально утвержденные «нормы», «законы» «советского творчества».

² Поиски своего места в культурном пространстве, как известно, привели Элиота и Мандельштама к новому осмыслению языка. В качестве основы мировой культуры они утверждают язык как организм, способный в процессе развития сохранять в себе присутствие всех культур. Формой самосознания языка, по убеждению Элиота, является поэзия [Кэвана 1993, с. 400–422], [Мандельштам 1991, с. 241–260, 363–414].

³ Об этом свидетельствует торжественный архаический стиль поэтической речи: возводя, воздвигают, ступая, восходят, Голгофа, вечный ритм и т.д.

часть речи. Первое значение подчеркивает диалогическую природу стихотворения, обнаруживая семантическую связь с ключевым образом пушкинского «Пророка» – *глаголом*. Второе значение является маркером собственно авторской семантики – *часть речи*, привнесенной в данный образ посредством преобразования грамматической формы слова *глагол*: единственное число в нем заменено множественным. В результате такой реконструкции в образе, с одной стороны, сохраняется его исходный статус предмета, понятия (*речь*), поскольку синтаксически слово *глагол* и у Пушкина, и у Бродского используется в значении существительного. Соответственно, как заявленное понятие⁴, оно требует репрезентации в тексте и в этом плане проявляет авторскую установку (об этом предмете я буду говорить), а также формирует сферу читательских ожиданий (что об этом предмете скажет автор, что понимает под этим предметом данный автор?). С другой стороны, в грамматическом преобразовании названия намечена логика преобразования (перекодирования) пушкинского текста в авторский текст Бродского⁵. Иначе говоря, художественный мир стихотворения Бродского мыслится как оригинальный на фоне и в сравнении с миром стихотворения Пушкина.

Для того чтобы выявить приоритеты Бродского в некой универсальной «программе творческого пути поэта», представляется продуктивным сопоставительный анализ данных стихотворений в аспекте реализации в них авторской мироформирующей стратегии.

Выделим несколько конструктивных моментов в архитектонике мира стихотворения Пушкина, которые, на наш взгляд, осваиваются Бродским в качестве основополагающих для построения его собственного мира.

Название стихотворения Пушкина обуславливает развитие действия: преобразование поэта в поэта-пророка. Исходная ситуация, обозначенная в зачине стихотворения (1–4 строки), характеризуется статичностью, ее символическое значение – бессмысленность суще-

⁴ На особое значение состава частей речи в поэтическом тексте указывает М.Л. Гаспаров в своей книге «О русской поэзии». По его мнению, из частей речи составляется «художественный мир произведения», в котором «существительные – его предметный и понятийный состав; прилагательные – его чувственная (и эмоциональная) окраска; глаголы – действия и состояния, в нем происходящие» [Гаспаров 2001, с. 18–19].

⁵ Пушкинский текст в этом случае является интертекстом; для Бродского он представляет собой «знаковую литературную модель», подлежащую структурному освоению в его собственной системе значимостей. Именно в результате диалогических отношений двух текстов, соответственно двух художественных миров, проявляются в полной мере авторские смыслы Бродского на тему «Поэт и его предназначение». См. исследования интертекстов Ахматовой, Мандельштама, Зощенко, Олеси, Булгакова, Бродского у А.К. Жолковского [Жолковский 1992].

ствования лирического героя, на что указывает глагол *влачился*, более привычно воспринимающийся в контексте устойчивого сочетания *влачить существование*.⁶ Об этом свидетельствует также пространственно-временная модель зачина. Пространство в нем изображается в горизонтальном ракурсе: «*В пустыне мрачной я влачился...*»; время не имеет направления: «*...я влачился*».

Центральная часть стихотворения (5–26 строки) представляет собой цепь трансформаций лирического героя, осуществленных «шестикрылым серафимом», явившимся ему на перепутье.⁷ Каждое звено в этой цепи – шаг к превращению обычного человека в пророка. Лирический герой последовательно обретает «внутреннее» духовное зрение; «внутренний слух»; «язык высшей истины», «пылающее сердце». «Иначе говоря, – пишет по этому поводу Е. Фарыно, – «Я» лишается своего земного тела (плоти) и получает тело, перестроенное по мистическому, божественному плану» [Фарыно 1991, с. 205]. Благодаря такому преобразованию лирического героя ему открывается первоначально иной образ мира. В отличие от прежнего мира, этот мир наполнен звуками: «*Моих ушей коснулся он, / И их наполнил шум и звон...*», пространство в нем познается не только в его горизонтальном измерении: «*дольней лозы прозябанье*», но и в его вертикальной направленности: «*И внял я небо содроганье, / И горний ангелов полет, / И гад морских подводный ход...*». В заключительном звене цепи преобразований (27–30 строки) достигается ее конечная цель: лирический герой обретает связь с Богом, дар *речи* (здесь впервые произносится ключевое слово – *глагол*), ему также открывается собственное предназначение – быть *пророком*.

Субстанциальным признаком мира стихотворения является особое соотношение в нем *молчания* и *речи*. Действие, как мы выяснили, имеющее статус сакрального, совершается в полном молчании (лирического героя, серафима), на фоне постепенно возникающих естественных звуков природы, поэтому так значительно событие финальной части – раздавшийся в этом как бы первозданном *молчании* мира «глас Бога». В целом данная перипетия (резкая смена одного состояния мира на другое, противоположное) не только зримо иллюстрирует символический смысл понятия «дар речи»⁸ но и, что особенно важно для логики нашего

⁶ Статичность существования имеет, как известно, символическое значение духовного тупика, обусловленное библейским контекстом: образами пустыни, «гласа вопиющего в пустыне».

⁷ См. анализ стихотворения «Пророк» А.С. Пушкина Е. Фарыно [Фарыно 1991, с. 205, 210].

⁸ Глас Бога воспринимается, безусловно, и как осуществленная через речь связь поэта с иным, бытийным измерением, как преодоление поэтом земного человеческого предела возможностей в постижении мира, в приближении к истине.

исследования, проявляет дуальные субстанциальные границы человеческого мира, которыми являются *молчание и речь*.

С точки зрения развития сюжета *финал* стихотворения по существу является *зачином* следующей цепи предполагаемых событий уже в качестве реализации «творческой программы» лирического героя в его новом облике – пророка: «*И, обходя моря и земли, / Глаголом жги сердца людей*».

В свою очередь, *название*, корреспондируясь с *финалом*, позволяет интерпретировать стихотворение не только как индивидуальную программу Пушкина, но и как некую универсальную формулу истинного поэта, которая открылась прежде всего самому лирическому герою, и которую он открывает другим. Именно так оно и было воспринято поэтами современниками, поэтами младшего поколения, тем более поэтами последующих поколений, включая советскую эпоху. Для них это положение уже имело значение аксиомы, поскольку Пушкин, признанный «солнцем русской поэзии» еще в XIX веке, был официально утвержден и «первым поэтом» советской литературы.

Бродский, начиная с названия стихотворения, меняет местами члены субъектно-объектной оппозиции по линии *поэт – речь*, репрезентируемые в стихотворении Пушкина. В качестве субъекта действия у него выступают сами *глаголы*⁹, *речь*. От речи исходит посыл творчества, воля к творчеству, ею предопределяется творческая биография, шире – судьба поэта. Источником порождения и разработки данного смыслового ряда в тексте на уровне сюжета и развития действия является лингвистическое значение *глагола* как части речи (обозначает действие, задает параметры некоего процесса).

В первой строке зачина стихотворения (1–5 строки) представлена сфера речи, в которой различаются пространственные очертания. Лирический герой находится внутри этого «речевого пространства», подобно лирическому герою «Пророка», затерянному в недрах пустыни: «*Меня окружают молчаливые глаголы*». Здесь совпадают эпический размах изображаемого, и основное свойство мира – его статичность, выраженная в тексте Бродского оксюмороном *молчаливые глаголы*¹⁰.

⁹ Идея «субъектности» глаголов («*И Он Сказал носился между туч с улыбкой Горбунова, Горчакова*») как формы выражения зависимости сознания от речевой сферы, понимаемой в качестве субстанциальной составляющей бытия человека, будет впоследствии художественно освоена Бродским: структурно воплощена в его произведении «Горбунов и Горчаков», новаторском с точки зрения жанра.

¹⁰ Аналогия пространственного расположения героя в мире двух стихотворений, на наш взгляд, очевидна. Ср.: «В пустыне мрачной я влачился...» и «*Меня окружают молчаливые глаголы...*».

Ситуация «молчания», которую дают прочувствовать читателю оба текста, сближает миры обоих поэтов. Она создает ощущение паузы перед событием речи, вовлекающим мир, собственную жизнь лирического героя в грандиозный процесс «наполнения смыслом». Если у Пушкина событие речи и, соответственно, судьба поэта, инициируется Богом, то у Бродского событие речи, рождаясь в молчании, творит судьбу поэта, оно само является высшей инстанцией.

Вместе с тем Бродский вносит авторский смысл в понятие «молчание». Композиция первой строфы подчиняется логике формирования развернутого персонифицированного образа «глухонемых» глаголов: в 1-й строке в сильной позиции, в зоне рифмы находится сочетание «*молчаливые глаголы*», в 4-й, завершающей – «*глухие глаголы*». «Молчание» и «глухота» глаголов означают здесь отрешенность от внешнего мира, сосредоточенность на внутренней духовной работе. В целом, в персонифицированном, амбивалентном образе речи – молчании¹¹ – поэтом обнажается ее способность аккумулировать энергию, которая впоследствии реализуется в творчестве. Иллюстрирует этот мощный духовный потенциал речи, формирующий внутреннюю стойкость поэта, обреченного на одиночество, его способность к жертвенности в ситуации прославления «*всеобщего оптимизма*», – центральная часть стихотворения (5–27 строки).

В этом своем качестве образ «*молчаливых глаголов*» Бродского аналогичен амбивалентному образу «*черноречивого молчания в работе*» Мандельштама¹². Поэзия выступает как воля к творчеству, непрерывный внутренний процесс, подчиняющийся собственным законам, неподвластный внешним обстоятельствам жизни. «Молчание в творчестве» обоих поэтов¹³, как известно, имело социально-идеологическую, биографическую подоплеку. Они относились к той части поэтов, творчеству которых был вынесен приговор «умалчивания», их стихи, в своем большинстве, не публиковались. В мире «Глаголов», как и в мире стихотворения Мандельштама, легко распознаются черты советского

¹¹ Молчание у Пушкина имеет различные смысловые оттенки. В философском плане в масштабах вселенной оно мыслится как безжизненность; в границах творчества – и как отсутствие вдохновения, и как необходимая пауза перед началом воплощения творческого замысла («... *минута, и стихи свободно потекут...*»). В следующие периоды творчества в лирике и, особенно детально в поэме «Горбунов и Горчаков», Бродский будет последовательно разрабатывать философский аспект мотива «молчания» и формировать семантическое поле образа молчания.

¹² Имеется в виду стихотворение О. Мандельштама воронежского периода «Чернозем».

¹³ Как известно, влияние творчества Мандельштама на поэзию Бродского было велико, о чем и сам он говорил в «Нобелевской лекции» [Бродский 1992, с. 450].

общества, с идеологией, претендующей на полное подчинение себе сферы речи, с разграничением литературы на официальную и неофициальную. Собственная позиция Мандельштама по этому поводу выражается в приоритете «*черноречия*» над *красноречьем*. Бродский выражает эту позицию с помощью противопоставления *глаголов* и *существительных*, беря за основу лингвистические характеристики данных частей речи – их синтаксическое «неравенство», зависимость *действия / глагола* от *предмета / существительного* в предложении. В этом плане организующим моментом исходной ситуации стихотворения выступает освобождение поля деятельности глаголов от существительных: «*Глаголы без существительных, глаголы – просто*». Сходство образов Мандельштама и Бродского заключается в способе их структурирования – им является развернутый в первых строфах стихотворений перечислительный ряд признаков, вычлняемых из демонстрируемого предмета: *чернозем, глаголы*, путем смысловых трансформаций звукового комплекса слов *чернозем* и *глаголы*. Ключевое слово преобразуется в смыслопорождающую инстанцию текста.

Итак, в первой строфе стихотворения «Чернозем» минимальными смыслопорождающими единицами являются звуковые сочетания: **чер – реч – черно – зем** (буквально «чернозем» означает *черная земля*, особенно плодородная почва) и фонемы: **ч-з-р** из звукового комплекса *чернозем*¹⁴. Нарастивание смыслового ряда происходит за счет их комбинаторики в составе новых лексем.

Чернозем

Переуважена, перечерна, вся в доле,

Вся в холках маленьких, вся воздух и призор,

Вся рассыпаючись, вся образуя хор –

Комочки влажные моей земли и воли! [Мандельштам 1991, с. 210].

В результате фонологических и семантических трансформаций данных единиц в тексте актуализируются и другие звуковые сочетания и фонемы в качестве дополнительных смыслопорождающих единиц. Например, в лексеме *земля* сочетание **-мл-** уже в первой строфе стихотворения предвещает появление слова *молчание* в заключительной 4-й строфе. Так, все три слова, входящие в состав развернутого образа «*черноречивое молчание в работе*», на формальном уровне воспри-

¹⁴ Мы остановились лишь на нескольких смысловых ходах одной строфы стихотворения. В действительности текст перенасыщен смысловыми связями, возникающими на различных уровнях его структуры, которые не только формируют концептуальную сферу данного стихотворения, но и обеспечивают его диалогические отношения со стихотворениями разных периодов творчества.

нимаются производными от звукового комплекса *чернозем*. Истоком же содержательной стороны этого образа является параллелизм *речи* и *земли*, как бы «вычитываемый» автором из названия (лексемы *чернозем*) и иллюстрируемый самим развитием текста.¹⁵ Формальная сторона этого процесса заключается в следующем: в лексеме *чернозем* актуализируются две части *чер / но / зем*, вследствие анаграммы первой части «*чер*» – «*реч*» оказываются параллельно расположенными звуковые комплексы *реч / но / зем*. Теперь становится очевидным и графическое основание параллелизма *речь* – *земля*, содержащееся в названии стихотворения. Подобно тому, как чернозем является наиболее плодородным слоем земли, плодотворной является та часть поэзии, которая как бы «молчаливо» вызревает в культуре и времени, вопреки общему потоку официально признанной «громкой» литературы, написанной на злобу дня¹⁶.

В данном структурном решении образа Бродскому интересна и сама идея (в ее онтологическом аспекте) колоссальных возможностей слова, речи в порождении смыслов, образующих некое текстовое (смысловое и формальное) единство, которым в конечном счете может быть, например, и судьба поэта. Аналогично тексту Мандельштама смыслопорождающей единицей первой строфы «Глаголов» является заглавное слово *глаголы*.

Глаголы

*Меня окружают молчаливые глаголы,
похожие на чужие головы*

глаголы,

голодные глаголы, голые глаголы,

главные глаголы, глухие глаголы [Бродский 1992, с. 68].

Тавтологическая концевая и внутренняя рифма, многократно повторяющая слово «*глаголы*», акцентирует его ударную часть «*голы*», придавая ей самостоятельное значение. Она становится источником следующей смысловой цепочки: *голые глаголы, голодные глаголы*. В результате такого расщепления слова *глаголы* самостоятельность приобретает и его первая часть – *гла*, образующая в свою очередь два новых слова: на основе анаграммы «*глаголы – головы – глава*» и от «*глава*» – «*главные глаголы*». По принципу корреляции со словом «молчание»

¹⁵ Данное стихотворение Мандельштама наглядно иллюстрирует особое значение соотношения **заглавия** и **текста**, которое актуально и в анализируемом стихотворении Бродского: в заглавии «имплицитно содержатся механизмы тексто- и смыслообразования» [Левашова 2006, с. 11].

¹⁶ Особый смысл это утверждение приобретает в контексте ссылки поэта и особенно в контексте сталинской эпохи.

актуализируется следующее качество – «глухие глаголы». Семантика слова «глаголы», как мы отмечали выше, развивается в архаическом значении: «слово», «речь», «язык». Слово «язык» имеет архаическое значение «народ». В соединении архаических и нормативных значений слова «глаголы» формируется образный параллелизм *речи и трудящейся части советского народа*. Голые, голодные, главные, молчаливые глаголы, разделяющие судьбу трудового народа: *«живут в подвалах, / говорят в подвалах, рождаются – в подвалах / под несколькими этажами / всеобщего оптимизма»*¹⁷. Равно как эта часть народа является базисом жизни, подлинная поэзия, в противоположность официальной, оказывается причастной правде жизни, самой жизни.

Смыслообразование в данной части стихотворения напоминает деление, размножение клетки живого организма. Позже, в «Горбунове и Горчакове», этот процесс приобретает значение необходимого условия речевой деятельности героя, направленной на постижение законов бытия. Его специфический характер раскрывается в развернутых концептопорождающих метафорах поэмы: *«и делится мой разум, как микроб, в молчаньи безгранично размножаясь»; «как быстро разбухает голова словами, пожирющими вещи»*.

Очевидно, что речь у Бродского органична живой материи мира и в своем субстанциальном качестве восходит к сфере духа; этим определяется ее ценность и ее власть над человеком, над его судьбой. В то же время именно в сфере речи, с точки зрения автора, совершается внутренний духовный выбор поэта, им обусловлено семантическое поле амбивалентного образа «молчаливых, глухих глаголов», которое может быть представлено совокупностью вторых членов следующего ряда оппозиций:

– пророческая речь (глагол – в архаической форме, – употребленный Пушкиным в значении «высокой речи», обращенной к народу) – частный голос поэта (глагол в значении части речи, имеющей свою «частную» функциональную сферу в языке / речи);

– «первый поэт» (признанный первым современниками) – «второй поэт»¹⁸ (для своего времени второстепенный поэт; по аналогии предпочтение отдается глаголу: в синтаксисе русского языка ему, как известно, отводится второе место после существительного);

¹⁷ Последняя фраза в историческом контексте начала 1960-х годов означает идеологическую надстройку, в основе которой лежали идеи построения коммунизма. Главный лозунг этого времени – «Жизнь прекрасна!».

¹⁸ Это определение применяет сам Бродский, сравнивая Пушкина и Баратынского и проводя аналогии между поэтами пушкинской плеяды и молодыми поэтами из своего ленинградского окружения.

– публикуемый (отражающий в творчестве идеи строительства социализма) – непубликуемый поэт (поэт, который буквально «глух» к призывам о воспевании образа человека – строителя нового общества, его творчество развивается в иной мировоззренческой парадигме, поэтому «замалчивается»).

Для того чтобы пронаблюдать способы художественного воплощения обозначенных положений поэтической программы Бродского, вернемся к мысли о том, что на формальном уровне мир «Глаголов» начинается с того момента, которым завершается мир «Пророка» – с явления речи. Центральные части стихотворений соотносимы и по характеру, и по масштабу разворачивающегося в них события – *преобразования*. В одном случае это преобразование поэта в поэта-пророка, в другом – частной жизни поэта в его творческую биографию. Данный процесс отличают признаки динамичности, последовательности и направленности к цели; только у Бродского именно речь, глаголы, подобно шестикрылому серафиму, шаг за шагом, «молчаливо» превращают частную жизнь героя в символическую судьбу поэта, апофеозом которой является восхождение на Голгофу. В результате расширения библейского контекста за счет введения образа Голгофы стихотворение Бродского по отношению к «Пророку» может восприниматься как дописанная им вторая, недостающая часть единого *пути поэта-пророка* в его символическом значении духовного развития, движения от *пустыни* до *Голгофы*, от «духовной окраины» – через обретение дара речи – к «сакральному центру мира»¹⁹.

Особо следует сказать о том, что в образе Голгофы для автора актуально значение жертвы. Речь «трудится»²⁰ над душой поэта, неуклонно

¹⁹ В данном случае это путь к сакральному центру, когда высшее благо обретается постепенным к нему приближением: от пустыни к Голгофе. В христианской модели мира Голгофа рассматривается как сакральный «центр мира» [Мифы народов мира 1991, с. 308]. Данная пространственная модель, с авторской оппозицией в ней окраины (жизни) – центра (смерти), является предметом осмысления поэта в стихотворении с «пушкинским» топосом возвращения «От окраины к центру» (1962). Она же лежит в основе таких его устойчивых метафор жизни / смерти, как «схождение на конус», «в сердце пластинки шаркающая игла» («Колыбельная Трескового мыса», «Послесловие»).

²⁰ Десять лет спустя, оценивая свой творческий путь в стихотворении «Разговор с небожителем», поэт развивает эту мысль: ... тебе твой дар

я возвращаю – не зарыл, не пропил;
и, если бы *душа* имела профиль,
ты б увидал,
что и она
всего лишь *слепок с горестного дара*,
что более ничем не обладала,
что вместе с ним к тебе обращена [Бродский 1992, с. 219].

направляя ее на путь жертвенности, о чем, в частности, свидетельствует заключительное звено цепи формосмыслопреобразований слова *глаголы*. *Глаголы – головы – голодные – голые – главные – глухие – Голгофа*. Фонетическая метаморфоза *глаголов* в *Голгофу* связывает начало стихотворения (1-ю строфу) и кульминационную с точки зрения развития сюжета 4-ю строфу центральной части, обнаруживая глубинный смысл жертвенности в самом понятии творчества.

Однако Бродский использует библейский сюжет, подсказанный Пушкиным, не только в качестве аналогии судьбы пророка и поэта в его завершающей фазе – восхождения на Голгофу, он развивает в своем стихотворении идею пророчества, акцентируя внимание на том, что самому событию предшествует речь о событии. Наиболее завершенный вид, как нам представляется, эта идея получает в диалогическом соотношении обоих текстов. Бродский использует текстовую раму «Пророка»: симметричное расположение основного понятия и ключевого слова, разъясняющего значение данного понятия, в сильных текстовых позициях *названия и финала* и тем самым на фоне семантического соответствия *пророк – глагол*, воспринимающегося традиционным, актуализирует собственную семантику сочетания *глаголы – Голгофа*. Уже в названии «Глаголы» потенциально присутствует финальное событие – Голгофа. Оно, словно тень, проступает в графическом и звуковом образе слова *глаголы*; его очертания становятся явственнее на уровне рифмы *глаголы – на Голгофу*, и, наконец, это слово, уже как событие, осуществляется в тексте на очередном витке сюжета. В этом плане существенно, что сюжет строится по принципу предположения – опровержения. Автор как бы перебирает, практически подбирает на слух по созвучию предлагаемые ему литературной традицией варианты творческой программы, биографии поэта, его судьбы, отыскивая в них истинный: *город*²¹ – *не город, памятник – не памятник, а Голгофа*. Стало быть, подлинный смысл предназначения поэта заключается не в стремлении к вечности, воплощенной в реальности в образе *города*, не в стремлении к славе, символом которой является *памятник*, а в способности преобразовывать в поэзию собственное одиночество и страдание души, что равносильно восхождению на *Голгофу*.

²¹ Мотив строительства города в начальной фазе развития сюжета стихотворения проявляет смысловую оппозицию строительства «дома всеобщего счастья» Платонова и «города-сада» Маяковского с точки зрения соотношения самой идеи строительства и результата ее воплощения. Так, грандиозность идеи сотворения «нерукотворного» памятника поэзии в стихотворении Бродского неожиданно разрешается восхождением на Голгофу.

Развивая мотив памятника, Бродский вступает в полемику с классической традицией сравнения мощи поэтического наследия со стихиями природы, с величественными архитектурными сооружениями, поскольку материально-строительная семантика памятника («идут на работу», «раствор мешают», «камни таскают») сменяется семантикой «построения» души. Вместе с тем в данный период творчества ему близка идея самоотречения в труде²², которую развивали в своей лирике в авторских интерпретациях Мандельштам²³, Маяковский²⁴, Цветаева; сама поэзия, «жизнь в языке / в речи», уподобляется поэтом труду с колоссальным напряжением душевных сил. В речевой деятельности, о чем мы говорили выше, мир облекается смыслом, в нем проявляются новые грани. Поэтическая атрибутика модели мира: «земля гипербол» – «небо метафор» – в последней строфе стихотворения свидетельствует о совершившемся в творческом речевом процессе преобразовании социальной модели мира (2-я строфа) с ее идеологической семантикой верха и низа: «всеобщий оптимизм» – «подвалы». Восхождение глаголов на Голгофу в 4-й строфе является кульминационным моментом этого преобразования.

Глаголы без существительных, глаголы – просто.

*Глаголы, которые **живут в подвалах**,*

говорят в подвалах,

Рождаются – в подвалах

под несколькими этажами

***всеобщего оптимизма** (2-я строфа)*

²² Эту мысль наиболее полно Бродский развивает в упоминаемом нами выше стихотворении «Разговор с небожителем»:

Здесь, на земле,
где я впадал то в истовость, то в ересь,
где жил, в чужих воспоминаньях греясь,
как мышь в золе,
где хуже мыши
глагол петит родного словаря... [Бродский 1992, с. 219].

²³ В данном случае мы имеем в виду мотив зодчества в лирике Мандельштама периода «Камня»:

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам
(«Notre Dame» 1912) [Мандельштам 1991, с. 24].

²⁴ Бродский, находясь с Маяковским по разные стороны «идеологического фронта», тем не менее использует в стихотворении образ поэта-строителя, ассоциирующегося с поэтом-рабочим. Он оставляет в данном образе главную характеристику – органичную связь его жизни с каждодневным тяжелым трудом.

Никто не придет и никто не снимет.
Стук молотка
Вечным ритмом станет.
Земля гипербола лежит под ними,
Как *небо метафор* плывет над нами!» (последняя строфа)
[Бродский 1992, с. 69].

Так в интерпретации дара речи на сюжетном уровне Бродский обнажает возможную смысловую двойственность самого словосочетания *дар речи*, обусловленную его грамматической формой сущ. Им. п. + сущ. Р. п. Дар речи истолковывается как дар творчества – «рукотворного памятника» глаголов (*речи*²⁵) поэту, поскольку слово / речь в понимании поэта принципиально одушевлено.

Мотив *памятника*, выполняющий сюжетобразующую функцию центральной части, проявляет в «пушкинском контексте» стихотворения Бродского семантическое единство стихотворений «Пророк» и «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» в качестве *начала* и *заклочения* целостного произведения жизни поэта, творческой биографии, судьбы. Учитывая то обстоятельство, что смерть Пушкина его современниками воспринималась заключительной трагической главой жизни поэта, а в историю русской литературы вошла как часть сюжета мифа о поэте-пророке, можно сказать, что восхождение на Голгофу, которым оборачивается строительство памятника в стихотворении Бродского, – это дописанный им *эпизод* к произведению жизни поэта.

Литература

- Бродский И. Форма времени: стихотворения, эссе, пьесы. В 2 т. – Минск, 1992.
Гаспаров М.Л. О русской поэзии: анализы, интерпретации, характеристики. – СПб., 2001.
Жолковский А.К. Блуждающие сны: Из истории русского модернизма. – М., 1992.
Левашова О.Г. Несколько интерпретаций одного стихотворения: учебное пособие. – Барнаул, 2006.
Мандельштам О. Э. Собрание сочинений. – М., 1991. – Т. 1.
Мифы народов мира. Энциклопедия. – М., 1991. – Т. 1.
Фарыно Е. Введение в литературоведение. – Варшава, 1991.

²⁵ Как нам представляется, в строчке из стихотворения «На столетие Анны Ахматовой» (1989), наряду с библейским значением «дара речи», также содержится отмеченное нами значение, которое здесь проявляется в результате инверсии: «...обретшей *речи дар* в глухонемой вселенной».

**«ВЛАСТЬ РЕФЕРЕНЦИИ» В ПРОЦЕССЕ
КОМПОЗИЦИОННОГО ПОСТРОЕНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
(на материале современной художественной прозы)**

Н.В. Панченко

Вопросы референтной соотнесенности традиционно ставятся во главу угла при формулировании особенностей художественного текста, организации художественного мира и определении ведущей черты художественного – фикциональности (М.Ю. Сидорова [2000], В. Шмид [2003], В.И. Заика [2006] и др.). Признание уникальности референта художественного текста по сравнению с референтами в других видах коммуникации порождает вопросы, во-первых, о природе различий референции художественной и нехудожественной, во-вторых, об онтологии фиктивного референта.

Принимая во внимание выделенные исследователями такие особенности референции в художественном тексте, как вымышленность, автореферентность и самоценность (В.И. Заика [2006]), порождающие нерелевантность оппозиции истина / ложь, двойственность референтной отнесенности, нетранзитивность и, главное (!), творимость (К.А. Долинин [2005]), или конструируемость, считаем необходимым обратиться к вопросам композиции в связи с организацией референта в художественном тексте: художественный текст сам порождает референты и от того, как будет структурироваться текст, будет зависеть и референциальная отнесенность творимого художественного мира.

Представляется, что в связи с идеей конструирования референта (идея высказана О.Г. Ревзиной [1998] в отношении стихотворного текста и В.И. Заикой [2006] – в отношении прозаического текста) вопрос композиционного построения текста становится ключевым.

Конструируемость референта имеет лингвокоммуникативные основания. Как отмечает Э. Бенвенист, язык, а стало быть и текст, или прежде всего текст, в буквальном смысле *«вос-производит действительность»* (выделено автором. – *Н.П.*), производя заново действительность посредством текстовых знаков [Бенвенист 2002, с. 27]. Причем это всегда двойное производство ситуации: «Тот, кто говорит, своей речью воскрешает событие и свой связанный с ним опыт. Тот, кто слушает, воспринимает сначала речь, а через нее и воспроизводит событие» [Бенвенист 2002, с. 27].

Однако референция в поэтическом языке (в широком смысле) мыслится иначе, чем референция языкового знака в обычном практическом языке. О.Г. Ревзина указывает на отсутствие «первичной соотнесенности с внеязыковым миром» как на неустранимую черту поэтического текста: «Загадка и парадокс референции в стихотворной форме речи состоит в том, что, не имея первичной соотнесенности с внеязыковым миром, стихотворный текст наделен способностью к потенциально неограниченным множественным внеязыковым соотнесениям» [Ревзина 1998, с. 25]. Другими словами, референтная соотнесенность проявляется не в отнесении к первичному референту, а в конструировании референта в процессе коммуникативного взаимодействия автора, читателя и текста в определенной ситуации непосредственно в тексте, в том числе и в прозаическом (по крайней мере, современные тексты дают основания для такого утверждения). Но если в стихотворной речи множественность объясняется прежде всего референтной актуализацией, индивидуальной для каждого говорящего-читающего, то в прозе природа множественности референта имеет иное объяснение, иную направленность и иной механизм осуществления. Это не референция к собственному читательскому чувству, состоянию, собственной ситуации, как в поэтическом тексте, а умножение якобы первичных референтов.

Противопоставляя множественность поэтического референта однократности прозаического, О.Г. Ревзина отмечает, что однократность референции в прозаическом тексте обусловлена тем, что «прагматические переменные мыслятся как имеющие первое полное материальное воплощение во внеязыковом мире» [Ревзина 1998, с. 28], что как раз и обуславливает его уникальность и неповторимость. Однако нужно отметить, что эта однократность может быть рассмотрена только в пределах одного композиционного варианта, другой же вариант задаст иной референт (но! и в том и в другом случае этот референт лежит за пределами ситуаций жизни, состояния и чувств говорящего-слушающего). И если многократность референции стихотворного текста определяется его возможностью соединяться с любой реальной ситуацией, с любым читателем, то множественность референциального конструирования в тексте прозаическом обусловлена потенциальной заложенностью неоднозначности референтов, кроющихся в мире внеязыковой действительности.

Множественность референции базируется на общелингвистическом положении о способах наименования: «... говорящий может брать в основу наименования различные признаки, свойственные обозначае-

мым предметам, различные отношения, отмечаемые между ними, в связи с чем одна и та же ситуация может получать ряд наименований» [Гак 1998, с. 217]. И если в обыденной коммуникации «в одной и той же ситуации (контексте) можно назвать лицо или предмет по его различным признакам, без искажения общей информации» [Гак 1998, с. 217], то в художественном тексте различные признаки, положенные в основу именованя, приводят к конструированию различных референтов.

Уточняя понятие референта для художественной речи, В.И. Заика отмечает, что «особенность эстетической реализации языка состоит в том, что слова не отсылают к референту, а в специфически организованной последовательности обеспечивают способ создания референта [Заика 2006, с. 16]. М.Ю. Сидорова считает, что между фикциональным событием и способом его именованя в тексте стоят «грамматические закономерности, позволяющие осуществить первое через второе»: «При отсутствии реального пространственно-временного “референтного поля” (“когнитивного коррелята”) пространственно-временные характеристики фикционального мира порождаются, организуются системой событий, представленных в тексте <...> И действия, и система точек зрения формируются синтаксическими моделями, в которых автор организует грамматически оформленные лексические единицы, сообразуясь с возможностями языка, “правилами” действительности реальной (многие из них уже зафиксированы в языковой системе) и законами жанра» [Сидорова 2000, с. 33–34].

Помимо уже отмеченных М.Ю. Сидоровой способов организации референтов в художественном тексте (лексических, грамматических, жанровых) необходимо обратить внимание на композиционное конструирование референта за счет использования референциальной стратегии композиционного построения текста. Под стратегией композиционного построения подразумевается трансформация текстового материала под проспективным и / или ретроспективным воздействием актуализатора. Именно стратегия задает направление трансформации: в отношении референта, цели, жанра, другого текста(-ов), элокутивных средств и др. Стремление читателя зафиксировать предмет, придать ему определенность и четкость границ заставляет обращаться прежде всего к референциальной стратегии композиционного построения.

В процессе референциальной трансформации осуществляется конструирование предмета (1) или ситуации (2).

1. Предметная референциальная стратегия направлена на установление границ предмета или предметного мира при композицион-

ном построении текста. Предмет, понимаемый достаточно обобщенно и включающий также лицо, персону, не просто конструируется на наших глазах, он находится в состоянии перманентного становления и переструктурирования, что ведет к невозможности зафиксировать его в однозначных и определенных границах, невозможности сделать его тождественным самому себе.

Основной способ конструирования предметного референта можно определить как тотальное нарушение логического закона тождества («*Всякая сущность совпадает сама с собой*»)¹, проявляющееся в нарушении границ объекта, частой внешне не мотивированной смене масштаба объекта, различном представлении о границах предметной области у автора и читателя.

Рассмотрим конструирование предметного референта в процессе композиционного построения текста в рассказе Т. Толстой «*Любишь – не любишь*». Композиционный вариант, конструирующий предметные референты ‘*любимая няня – нелюбимая няня*’ актуализируется практически в начале текста достаточно объемным высказыванием, образующим целый абзац: «...*Маленькая, тучная, с одышкой, Марьиванна ненавидит нас, а мы ее. Ненавидим шляпку с вуалькой, дырчатые перчатки, сухие коржтики “песочное кольцо”, которыми она кормит голубей, и нарочно топчем на них ботами, чтобы их распугать. Марьиванна гуляет с нами каждый день по четыре часа, читает нам книжки и пытается разговаривать по-французски – для этого, в общем-то, ее и пригласили. Потому что наша собственная, дорогая, любимая няня Груша, которая живет с нами, никаких иностранных языков не знает, и на улице давно уже не выходит, и двигается с трудом. Пушкин ее тоже очень любил и писал про нее: “Голубка дряхлая моя!” А про Марьиванну он ничего не сочинил. А если бы и сочинил, то так: “Свинюшка толстая моя!”».*

Актантные признаки в данном актуализаторе образуют следующие оппозиции: 1) объектная (Марьиванна – няня Груша), 2) локативная (улица – дом), 3) компаративная (образованность – необразованность). Эти четко противопоставленные контрадикторные, или по крайней мере контрарные признаки, изначально очертив границы любимой няни Груши и нелюбимой Марьиванны, уже в этом высказывании содержат тождественный актант – ‘голубка’ (Марьиванна кормит голубей, а няню Грушу называют голубкой). Границы предмета становятся еще

¹ «Закон тождества (lex identitatis) есть закон, в соответствии с которым любая законченная мысль должна сохранять свою форму и свое значение в пределах определенного контекста – известного или подразумеваемого заранее» (выделено автором – Н.П.) [Клюев 1999, с. 90].

более относительными в следующей фразе, где актантные признаки подвергаются операции инвертирования. Марьиванна оказывается тоже любимой няней: *«Марьиванна тоже была любимой няней у одной уже выросшей девочки!»* Одновременно происходит расширение актантной структуры актуализатора: добавляется субъектная оппозиция (мы, непослушные, кому еще «не стукнуло семь лет» – девочка Катя, «уже выросшая» и послушная). Этот актант состоит из оппозиционного зависимого признака («нормальные – ненормальные»), что добавляет и эту оппозицию в структуру актуализатора через абсурдные высказывания Марьиванны и Кати: *«– Доешь червячков до конца, дорогая Катюша! – С удовольствием, ненаглядная Марьиванна! – Скушай маринованную лягушку, деточка! – Я уже скушала! Положите мне еще поре из дохлых мышей, пожалуйста!..»*

Марьиванна не только превращается в последующем повествовании в «мою нянечку», но и становится для героини «наша, наша Марьиванна, наше посмешище: глупая, старая, толстая, нелепая». Перестановка актантов, развертывающих предикаты «любимая няня» – «нелюбимая няня» приводит к отождествлению предикатов: теперь не только каждая няня любима своей воспитанницей, но и две няни сливаются в один референт. Неразличению няни Груши и Марьиванны способствуют сказки и песни, которыми утешают и усыпляют повествующую девочку – это сказочные героини или персонажи романтических баллад Жуковского (не он ли дядя Марьиваны?), Пушкина и Лермонтова. И то и другое вызывает у ребенка ужасные, чудовищные видения, ей везде чудятся страшные тени, все это вместе способствует развитию бреда у больного ребенка.

Однако окончательного слияния в один референт не происходит. Актантный распространитель «свой – чужой», куда были объединены два актанта: локативный (улица – дом) и компаративный (иностранность (французский) язык – русский писатель (Пушкин)), – вновь раздваивает единый референт «няня», еще раз изменяя границы предметной области (Марьиванна, повеселевшая, не понимает, почему ребенок плачет; няня Груша все понимает и утешает). В то же время няня Груша рассказывает страшные сказки, вызвавшие болезненный бред (*«... гуси-лебеди вот-вот схватят бегущих детей, а ручки у девочки облупились, и ей нечем прикрыть голову, нечем удержать братика!»*), а Марьиванна читает стихи дядя Жоржа (*«... Не алые тюльпаны / Расплылись на груди – / В камзоле капитана / Три дырки впереди; / Веселые матросы / оскалились на дне... / Красивы были косы / У женщин в той стране»*).

Конец текста также не позволяет однозначно определить референт: Марьиванна уходит от девочки, но и про то, осталась ли няня Груша, ничего не сказано, впрочем, не сказано и обратного.

Таким образом, данный композиционный вариант не приводит к четкому конструированию предмета, а, напротив, создает особый тип референта, отличающегося неоднозначной отнесенностью не только в пределах одного текста, но и в пределах одного композиционного варианта. Актуализируемый композиционный вариант создает двойственный образ няни, природа которого обусловлена не только двойственностью транслирующего сознания (сознание девочки и имплицитного взрослого повествователя), но и специальной заданностью двойственного референта.

Предметный референциальный композиционный вариант в рассказе В. Пелевина «Зигмунд в кафе» организован ретроспективно, актуализируясь только в конце рассказа: *«Лица приближались и через несколько секунд заслонили собой почти весь обзор, так что Зигмунду стало немного не по себе, и он на всякий случай сжался в пушистый комок. – Какой у вас красивый попугай, – сказал хозяйке господин с бакенбардами»*. Только ретроспективно осознается необходимость конструирования наблюдателя – лица, воспринимающего происходящее в кафе и якобы организующего описание. В финале текста референт трансформируется из активного наблюдателя в бессмысленного фиксатора увиденного – попугая Зигмунда. Все остальные элементы текста трансформируются в направлении основного предикативного признака ‘активный осознанный наблюдатель – пассивный бессмысленный наблюдатель’. Все фиксируемые в процессе рассказывания детали, ощущаемые как неслучайные, имеющие некоторое значение, не только утрачивают свою осмысленность, но и превращаются в случайные признаки. Так объект наблюдения трансформируется в объект фиксации.

Второй актант ‘комментарий’ также приобретает иной смысл (произнесение «Ага!» после каждого эпизода – это не имитация вывода, сделанного при наблюдении ситуации, а ограниченность словарного запаса попугая, живущего в кафе, нарастающая же интенсивность и громкость возгласов продиктована физиологическим беспокойством и состоянием изгаженной клетки (*«...клетку свою всю обгадил. Чистого места нет»*)).

Пространственные перемещения взгляда наблюдателя (третий актант) утрачивают мнимую системную значимость и обусловлены лишь случайным редким поворотом головы попугая. Этим же продиктовано и отсутствие целостности в восприятии попугаем посетителей кафе.

Конструирование референта в данном рассказе осуществляется как его отсроченная трансформация. «Запоздалое» определение референта переструктурирует весь текст рассказа в ретроспективном направлении.

Референциальная стратегия, реализуемая в направлении предмета при сохранении основных актантов, изменяет предикативный признак в актуализаторе.

2. Ситуативная референциальная стратегия сохраняет предикативный признак, но трансформирует актантные признаки актуализатора.

Ситуация представляет собой «часть отображаемой в языке действительности» и «образуется в результате координации материальных объектов и их состояний», координации пространственного или временного характера [Гак 1998, с. 252].

Конструирование референта в художественном тексте в процессе композиционного построения, осуществляемого посредством пространственной координации предметов², требует обязательно наличия второго объекта, по отношению к которому или при помощи которого характеризуется первый [Гак 1998, с. 253]. Локализация предметов в пространстве включает три обязательных компонента: локализуемый предмет, пространственное отношение и локализатор – и один факультативный: характеристику движения и местонахождения, представляющий собой способ передвижения или позицию предмета соответственно [Теория функциональной грамматики...1996].

В рассказе В. Пелевина «Зигмунд в кафе» конструируется референтное пространство, организованное как постепенно заполняемый мир кафе. Изменение состояния пространства кафе актуализирует в начале текста композиционный вариант 'пустое пространство – заполненное пространство'. Пустоту морозного воздуха кафе сменяют первые посетители – «господин с бакенбардами и дама с высоким шиньоном». Каждый из них окружен определенными предметами, заполняющими пространство вокруг них: дама – длинным острым зонтом, шубой, а господин – небольшой женской сумочкой, плащом, шляпой. С этими предметами лица совершают определенные манипуляции, при этом не всегда удачные («*мужчина <...> попытался нацепить шляпу на одну из длинных деревянных шишечек, торчавших из стены над вешалкой, но промахнулся, и шляпа, выскочив из его руки, упала на пол*»). Определенность предметной заполненности пространства придают атрибутив-

² «При пространственной координации данный объект определяется не по отношению к своему иному потенциальному состоянию, а по отношению к другому объекту» [Гак 1998, с. 252].

ные актанты, организованные иерархически: *«Господин нес небольшую женскую сумочку, отороченную темным блестящим мехом, чуть влажным из-за растаявших снежинок»*. Каждый атрибут пространственно определен собственным атрибутивным конкретизатором: господин – небольшой женской сумочкой, сумочка – темным блестящим мехом, мех – растаявшими снежинками. Актуализатор композиционного варианта расширяется за счет прибавления атрибутивных актантов, последовательно подчиненных друг другу.

Дальнейшее развертывание композиционного варианта осуществляется через иерархизацию актантной структуры, созданной операцией вертикального добавления. Все манипуляции с предметами и их атрибутами локализованы: *«... и вдруг на ее лице появилась расстроенная гримаса – замок на сумочке был раскрыт, и в нее набился снег. Дама укоризненно покачала шинойном (мужчина виновато развел рукавами бархатного пиджака), вытряхнула снег на пол и защелкнула замок. Затем она повесила сумочку на плечо, поставила зонт в угол, отчего-то повернув его ручкой вниз, взяла своего кавалера под руку и пошла с ним в зал»*³.

В процессе композиционного построения текста поэтапное заполнение пространства кафе связано с образованием параллельных пар референтов, локализуемых в пространстве. Вторую пару образуют хозяйские дети – «мальчик лет восьми в широком белом свитере, усеянном ромбами, и девочка чуть помладше, в темном платье и полосатых шерстяных рейтузах», – так же замещающие пустоту. Манипулирование предметами у этой пары совершается по тому же принципу, что и в случае с дамой и господином, и сама структура пространственных актантов (субъектов, пространственных отношений и локализаторов) тоже представлена вертикально расширяющимися локализованными атрибутами.

Сходным образом организовано заполнение пространства в темном и пустом дальнем углу зала, где субъектами локализации выступают хозяйка и официант.

Перемещение от одного эпизода к другому маркируется неизменным *«Ага!»* Зигмунда, переводящего взгляд с одной пары на другую. При этом *«Ага!»* произносится всякий раз со все возрастающей громкостью и интенсивностью: *«тихо сказал»*, *«сказал»*, *«громко сказал»*, *«воскликнул»*, *«беспокойно крикнул»*, *«изо всех сил закричал»*. Одновременно от эпизода к эпизоду происходит нарастание атрибутивных референтов, уже не просто заполняющих, а загромаждающих пространство. В этом контексте закономерен финал рассказа:

³ Полу жирным выделены средства выражения пространственных отношений.

«– Зигмунд – молодец, – кокетливо сказал Зигмунд, на всякий случай передвигаясь по жердочке в дальний угол клетки. – Зигмунд – умница.

– Умница-то умница, – сказала хозяйка, – а вот клетку свою всю обгадил. Чистого места нет.

– Не будьте так строги к бедному животному. Это ведь его клетка, а не ваша, – приглаживая волосы, сказал господин с бакенбардами. – Ему в ней жить».

Постепенное заполнение пространства, осуществляемое посредством нагнетания предметов и манипуляций с ними, оборачивается своей противоположностью. При этом пространство остается статичным, как бы «замерзшим» (облако холодного воздуха, первоначально влетевшее в кафе, постепенно окутывает и всех его обитателей). Каждая из пар образует свое автономное пространство: низ – дети, верх – хозяйка и официант, середина – дама и господин. Пересечения и объединения пространств не происходит. Квазипересечение, осуществляемое дважды, тут же отрицается. Миры существуют параллельно друг другу, они не интересны друг другу, между ними нет никакой связи. Поэтому в конце текста пространство остается по-прежнему пустым и сужается до изгаженной клетки попугая Зигмунда. Статичность и неподвижность, некоторая картинность пространства соприкасается с композиционным вариантом, актуализуемым метатекстовой стратегией.

В случае временной координации ситуативного референта изменяется состояние объекта или конструируется явление, что может проявляться как замещение данного состояния или явления другим состоянием или явлением [Гак 1998, с. 252]⁴.

Ситуативный референт может носить прецедентный характер. Так, в рассказе Т. Толстой «Любишь – не любишь» посредством ряда композиционных вариантов конструируется несколько прецедентных ситуаций, опознание которых позволяет соотнести текст рассказа с представлениями об основных (предикативных) и сопровождающих (актантных) признаках ситуаций болезни, непонимания, любви / нелюбви.

В рассказе Т. Толстой «Любишь – не любишь» ситуативный референциальный композиционный вариант актуализируется инициальными репликами девочки (повествующего субъекта в рассказе) и кого-то из взрослых: «– Другие дети гуляют одни, а мы почему-то с Марьяванной! – Вот когда тебе стукнет семь лет, тогда и будешь гулять одна. И нельзя говорить про пожилого человека “противная”. Вы должны быть благодарны Марье Иванне, что она приводит с вами время».

⁴ «Временная координация устанавливает отношения между состояниями данного объекта, вне его связи с другими объектами» [Гак 1998, с. 252–253].

Предикативный признак в актуализаторе «непонимание» имплицитруется через несоответствие первой и второй реплик – по сути, ответом на вопрос является только первая фраза ответной реплики (да и содержание ответа ничем не мотивировано в предыдущем высказывании, зато имеет мотивации во внетекстовой реальности – типичные ответы взрослых на вопросы детей). Дальнейшее построение высказывания взрослого персонажа строится на основе операции добавления актантов к уже существующему ‘почему – когда’. *«И нельзя говорить про пожилого человека “противная”»* эксплицирует отраженную цитату как продолжение предполагаемой дискуссии. Отраженная цитация как один из основных актантов предикативного признака в актуализаторе данного композиционного варианта представляет собой либо повтор предыдущего высказывания (в случае эксплицированного цитируемого текста), либо предвосхищение слов и / или действий, чаще всего ложное или, по крайней мере, подвергающееся сомнению в тексте.

Следующий актант, добавленный к признаку, семантизируется как ‘долженствование’ (*«Вы **должны быть** благодарны Марье Иванне, что она проводит с вами время»*).

Таким образом, актуализатор рассматриваемого композиционного варианта имеет следующую структуру: предикат – ‘непонимание’ и набор актантов (признаков непонимания) – 1) ‘немотивированность’, 2) ‘отраженная цитация’, 3) ‘долженствование’.

Следующее высказывание в тексте вполне реализует указанную модель, заданную инициальными репликами текста. Операция трансформации, осуществляемая при реализации актантов, – перестановка: 1) актант – отраженная цитация, имплицитно представленная в предыдущем высказывании (*«Да она нарочно не хочет за нами следить!»*), 2) долженствование (*«И мы обязательно попадем под машину!»*), 3) отраженная цитация–2, реализованная как предвосхищение слов / действий (*«И она в скверике знакомится со всеми старухами и жалуется на нас. И говорит: “дух противоречия”»*).

Последующие элементы текста реализуют актант отраженной цитации (соотношение 3–4, 4–5, 6–7–8 реплик) и добавления другого значения слова: ко второму значению ‘принять к сведению что-л., обратить внимание на что-л.’ первого значения ‘напрячь слух, внимание, чтобы расслышать’ [МАС. Т. III, с. 440–441].

Непонимание девочки Кати, которая уже выросла (!) и при этом очень любила свою няню – Марьиванну. Структура данной ситуации также представлена 1) актантом немотивированности любви девочки

к Марьиванне и 2) отраженной цитацией («*Она не высовывала язык, не ковырала в носу, доела все до конца, обнимала и целовала Марьиванну – ненормальная!*»); данный актант осложнен оценочным актантом; 3) актант долженствования, совмещенный с отраженной цитацией, развернут в целый воображаемый диалог Марьиванны и послушной Кати («– *Доешь червяков до конца, дорогая Катюша! – С удовольствием, ненаглядная Марьиванна! – Скушай маринованную лягушку, деточка! – Я уже скушала! Положите мне еще пюре из дохлых мышей, пожалуйста!..*»). Абсурдность и немотивированность отношений противной Марьиванны и ее воспитанницы, неверие в возможность таких отношений передается через высказывания, обозначающие аномальную, не соответствующую устройству мира ситуацию, необылицу или чепуху (см. о таких высказываниях: [Арутюнова 1976, с. 118–121]).

Глобализация непонимания проявляется и в отношениях с незнакомыми людьми на бульваре через внешне ничем не мотивированную реакцию девочки на действия взрослых («*Старушенция, балда, развесила уши, мечтательно улыбается, смотрит на меня. А нечего глазеть-то! Я показываю ей язык. Марьиванна, от стыда прикрыв глаза, шепчет с ненавистью: “Жуткое существо!”*»), эксплицированную цитату.

Это тотальное непонимание повторяется в ситуации с отцом, учительницей французского и при любом столкновении с Марьиванной. Однако это обоюдное непонимание: взрослые тоже не понимают ребенка, что реализуется отраженно в сознании повествующей девочки в виде отраженной цитаты.

Таким образом, в данном тексте реализуется глобальное непонимание двух миров – детского и взрослого⁵. Все элементы данного текста подчиняются структуре актуализатора и создают изотопию. Глобальная антиномичность проявляется как на уровне одного высказывания, абзаца, так и кусков текста, образов и целых миров.

Это коррелирующие композиционные варианты, предполагающие взаимную обратимость: ситуация непонимания обращается антиномичностью двух миров – взрослого и детского; антиномичность миров трансформируется во взаимное глобальное непонимание. С этими двумя вариантами коррелирует и конвертивный композиционный вариант – любишь – не любишь (конвертивность его проявляется только в данном тексте), заданный уже в названии – конверсивная ситуация *любишь – не любишь*.

⁵ К этому же мы приходим и через элокутивную стратегию – антитеза является наиболее частотной фигурой в данном тексте.

Начальный фрагмент текста реферирует к ситуации *не любишь* (ребенок рассказывает о своем неприятии Марьиванны).

В следующем фрагменте реализуется ситуация *любишь* («*Но вот что удивительно – но Марьиванна тоже была любимой няней у одной уже выросшей девочки!*»). Дальнейшее движение от ситуации к ситуации представляет собой чередование этих двух ситуаций. Трансформация из одной ситуации (*не любишь*) в другую (*любишь*) связана 1) с конверсией этих ситуаций, 2) со сменой актантов при предикативном признаке (субъекта и объекта любви).

Этот композиционный вариант организован проспективно. Вызвано это, видимо, тем, что актуализатор расположен уже в заглавии текста.

Другой вариант композиционного построения, актуализируемый в рамках референциальной стратегии – ситуация болезни. Само восприятие мира, представленное в тексте, – это восприятие его болезненным, воспаленным сознанием ребенка. Актуализируется данный вариант в середине текста. Именно с Марьиванной связано болезненное негативное восприятие ребенком окружающего мира («*И завтра она придет опять, если мы не заболеем. А бодем мы часто*»). Само описание болезни / болезненного состояния – это ситуация бреда («*кинофильм бреда*»). Предикат ‘болезнь’ сопровождается актантами 1) ‘страха’, 2) ‘смерти’. Данный актуализатор трансформирует и предшествующий контекст – неадекватное поведение ребенка мотивируется его болезненным состоянием. Страхи, чудища по углам – это тоже элемент болезненного восприятия мира. Тогда последующий контекст – это своего рода выздоровление, а уход Марьиванны воспринимается как уход болезни: «*Смертной белой кисеей затягивают люстры, черной – зеркала. Марьиванна опускает густую вуальку на лицо, дрожащими руками собирает развалины сумочки, поворачивается и уходит, шаркая разбитыми туфлями, за порог, за предел, навсегда из нашей жизни*». Весь текст предстает как развитие болезни, долгой, изнурительной и тяжелой, которая заканчивается с приходом весны («*Весна еще слаба, но снег сошел, только в каменных углах лежат последние черные корки. А на солнышке уже тепло. / Прощай, Марьиванна! / У нас впереди лето*»).

Композиционные варианты, организованные ситуативной референциальной стратегией, являются результатом трансформации текстового материала в отношении актантных признаков, сопровождающих основной – ситуативный. Динамика ситуации осуществляется в пределах заданной ситуации, не нарушая ее границ, в отличие от предметной референциальной стратегией, при которой нарушаются именно границы референта.

Использование референциальной стратегии композиционного построения текста является приоритетным. Только неудача в осуществлении композиционирования текста в данном направлении или нарочитое указание на другую стратегию может заставить воспринимающего обратиться к иным стратегическим действиям. Косвенно приоритетность данной стратегии подтверждается тем, что риторическая диспозиция, традиционно отождествляемая с категорией композиции не только в трактатах и учебниках риторики, но и в литературоведческих и многих лингвистических работах, является наиболее влиятельной с точки зрения традиции.

Литература

- Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы. – М., 1976.
- Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М., 2002.
- Гак В.Г. Языковые преобразования. – М., 1998.
- Долинин А.К. Интерпретация текста: французский язык. – М., 2005.
- Заика В.И. Очерки по теории художественной речи. – Великий Новгород, 2006.
- МАС – Толковый словарь русского языка: В 4-х тт. – М., 1985–1988. – Т. III. П–Р.
- Ревзина О.Г. Системно-функциональный подход к лингвистической поэтике и проблемы описания поэтического идиолекта: дисс в форме научн. докл. ... д-ра филол. наук. – М., 1998.
- Сидорова М.Ю. Грамматика художественного текста. – М., 2000.
- Теория функциональной грамматики. Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность. – СПб., 1996.
- Шмид В. Нарратология. – М., 2003.

АЛТАЙЦЫ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ (этнокультурологический аспект)

Н.М. Киндикова

По утверждению историков, в VI–VIII веках на территории современной Монголии существовал тюркский каганат, народ которого расселился впоследствии по всему миру [Гумилев 1967]. Нет необходимости перечислять все тюркские народы России, но стоит подчеркнуть их отличительные особенности.

Во-первых, тюрков объединяет языковая общность. Они общаются на тюркском языке – одном из языков близкородственных народов. Во-вторых, истоки их этнокультурной общности восходят к орхон-енисейским письменам. В древней поэзии VI–XII веков запечатлен

страстный призыв к единению тюркских народов. В третьих, можно отметить не только генетические, но и контактные и типологические связи тюркских народов с другими народами, в частности с монгольскими и славянскими.

На Алтае проживали разные племена и народности, самая многочисленная из которых – «теле», или «теленгиты», «телеуты». Отсюда и произошло историческое самоназвание алтайского этноса – «теленгиты».

Тюркологи XIX столетия (В. Радлов, В. Вербицкий и др.) подразделили язык алтайского народа на южный и северный диалекты. С тех пор на лингвистической основе принято делить алтайцев на малочисленные субэтносы, этнические группы: куманды, чалканду, тубалары, теленгиты и т.д. О них написано достаточно исследований, недоступных, к сожалению, для широкого круга читателей [Саглаев 1974].

В самом этнониме «куманды» заключено древнейшее название тотема лебедь – «куу»: «куу+мен», точнее «мен куудан буткен кижии», в переводе на русский язык означает: «Я происхожу из лебедя». Челканцы тоже подчеркивают свою родословную, называя себя «куу кижии» наряду с используемым в качестве самоназвания «чалканду». Точно так же образованы этнонимы «ак + кас» (отсюда современное название этноса «хак + кас», точнее «мен кастан буткен кижии» – «Я происхожу из белого гуся»).

Имена тотемных птиц и зверей сохранены в названии титульных народов тюркского происхождения, самые древние из которых остались у туркмен и башкир: «турк + мен» (я турук), башкорт – «баш + бору» (голова волка), ногай переводится как «собака» и т.д. В названии тюркских этносов обозначено происхождение тюрков от тотемного волка («кок бору» – голубой волк).

Более древними тотемами считаются птицы, спустившиеся с небес. По преданию древних тюрков, когда-то три лебедя спустились с небес, чтобы окунуться в речке. На берегу они оставили свои одеяния. Случайный охотник решил припрятать одежду одной из птиц. Выйдя на берег, третья птица-девушка не обнаружила своего одеяния. Две из них, одевшись, улетели в небо. Так птица-лебедь стала женой охотника. Отсюда, говорят, и пошел род «кумандинцев», челканцев.

Этнографы считают, что одежда алтайской замужней девушки – «чегедек» – не случайно имеет форму крыльев птицы. Все эти данные свидетельствуют о том, что кумандинцы, челканцы сохранили архаические элементы алтайского этноса. Причем эти особенности четко прослеживаются в их языке, а именно в фонетике и лексике [Баскаков 1965].

Тубалары больше указывают на место своего обитания: «лесные люди», что на алтайском звучит как «јъш кижи». Точно так же называют себя южные алтайцы (алтай кижи). И лишь у теленгитов Улаганского и Кош-Агачского районов Республики Алтай сохранено самоназвание алтайского этноса. Южные алтайцы больше подверглись монгольскому нашествию. Более открытой оказалась территория Онгудайского, Шебалинского, Усть-Канского районов.

Название населенного пункта Онгудай в книге В.В. Радлова обозначено словом «Ангодай» с припиской: «алтайцы называют его Конгодой» [Радлов 1989, с. 184]. Это слово по-алтайски звучит как «Кондой», что указывает на удлиненно-полое месторасположение села. В картографию вошло искаженное слово «Онгудай». Из-за отсутствия умляута в алтайских буквах (о, у, ј, н) наблюдается не только неправильное написание алтайских слов, но и замена их смыслового значения.

В годы советской власти и коллективизации алтайский народ, как и все другие, подвергся раскулачиванию, репрессии и т.д. А в 1960–70-е годы в связи с вырубкой кедра, укрупнением сел происходило вынужденное переселение коренных жителей с места их компактного проживания, закрытие малокомплектных школ, что приводило к исчезновению языка малочисленного субэтноса. Так, например, когда образовалась Горно-Алтайская автономная область, большая часть кумандинцев географически оказалась за ее пределами, точнее в г. Бийске, Красногорском и Солтонском районах Алтайского края. Племена из рода кара майман, в частности, проживали в Солтонском районе, позднее они переселились в Чемал (Шамал по-тюркски означает ветер). О родословной кара майман по имени Солтон существует в народе историческое предание, записанное впоследствии поэтом Б. Бедуровым.

В Кемеровской области проживают наши сородичи телеуты. В свое время предводители алтайцев, присоединяя свой народ к русскому, прозорливо предсказали: «когда-нибудь свой народ различим по глазам, словно овес от пшеницы» [Калачев 1896, с. 3].

Село Шунурак Турачакского района (название села образовано от слова «шанырак»), что означает купол аила, символизирующий домашний очаг), где проживали кумандинцы, на сегодняшний день находится на грани исчезновения. В годы Великой Отечественной войны из этого села ушло на фронт более 400 человек, а вернулось всего 200.

И лишь в 90-е годы минувшего столетия наконец-то мы обрели свою государственность – образовалась самостоятельная республика. На рубеже двух веков просыпается историческая память народа. Отрад-

но, что молодежь ищет свои корни, интересуется своей родословной, историей и культурой алтайского народа. Современные алтайцы только сейчас начинают осознавать, что они тюрки, народ со своей территорией, историей и древней культурой.

В настоящее время, пока мы выясняем, из какого рода и племени произошли, пока определяем свое отношение к религии, приезжие покупают частные дома, землю, становятся хозяевами. Коренные жители остаются неподготовленными к приему отечественных и иностранных туристов. Для туристов удивление представляет лишь природа, им не важно, какой народ проживает на Алтае.

Выдающиеся национальные мыслители и деятели культуры начала XX столетия, такие как алтаец Г.И. Чорос-Гуркин (1870–1937), хакас Н.Ф. Катанов (1862–1922), саха-якут А.Е. Кулаковский (1877–1926) и др., не случайно переживали за судьбу малочисленных народов. Достаточно вспомнить произведение «Плач алтайца на чужбине», написанное Г.И. Чорос-Гуркиным [Чорос-Гуркин 1990, с. 217–221]. В нем прозорливо предсказана сегодняшняя ситуация на Алтае. Лучшие сыны малочисленных народов в свое время стремились к единению тюркских народов Сибири: шорцев, хакасов, алтайцев, однако подверглись за это незаконным обвинениям и осуждению.

Как известно, в 20–30-е годы минувшего столетия в автономных областях Сибири была развернута целенаправленная работа по созданию школьных учебников. Первые национальные книги для чтения издавались в Москве, в издательстве «Восточная литература», затем в связи с латинизацией алфавита центром издания национальных учебников стал г. Новосибирск. Здесь встречались первые интеллигенты из автономных областей сибирского региона для составления учебников.

Архивные данные свидетельствуют о том, что представители Горной Шории, Хакасии, Ойротии были озабочены прежде всего созданием единой терминологии для алтайских, хакасских, шорских народов. К сожалению, эти начинания 30-х годов остались неосуществленными, за исключением введения отдельных общеупотребительных слов: бичиктос – букварь, танмалык – алфавит, танык – буква и т.д., которые заново введены во второй половине 90-х годов XX столетия. Причины всем известны: в те суровые годы представители автономных областей были подвергнуты необоснованной критике и репрессированы по ложному обвинению за участие в контрреволюционной организации «Союз сибирских тюрков».

Судьба многих из них неизвестна, но в документах ФСБ числятся фамилии алтайца Н.А. Каланакова, хакаса Г.П. Бытотова, телеута

Г.М. Токмашева [Дело № 17702]. Они в те годы были обеспокоены судьбой коренных малочисленных народов, в частности размышляли о сохранении и развитии их языка и культуры.

В последние годы нам удалось выяснить их имена, а также установить годы жизни, узнать подробнее о их судьбе. Николай Андреевич Каланаков (1888–?) был автором первого алтайского букваря для взрослых (1921), одним из организаторов открытия педтехникума (1928), преподавателем алтайского языка и его методики; арестован в 1934 году по ложному обвинению за контрреволюционную агитацию против советской власти и ее мероприятий. Годы жизни не установлены, в документах ФСБ значится только год рождения. Он уроженец с. Паспаул Чойского аймака. В протоколе допроса от 1934 года записано: «Окончил Бийскую катехизаторскую школу. Шесть лет был дьяконом, затем работал преподавателем педагогического техникума в г. Ойрот-Тура (ныне – г. Горно-Алтайск. – *Н.К.*), род его занятий – секретарь облкомитета НТА и преподаватель учительских курсов при педтехникуме, беспартийный». Его репрессировали дважды: в 1934 году он «осужден на три года лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года» [Дело №17702]). После того как он вернулся, его снова забрали в 1937 году. Дальнейшая судьба его неизвестна. В свое время он был одним из первых алтайских поэтов, талантливым прозаиком, драматургом и переводчиком. Н.А. Каланаков был реабилитирован лишь в 1992 году.

Бытотов Георгий Павлович (1902–1938) был в свое время членом ВКП(б), учился в КУТВ-е. Он был одним из организаторов хакасского краеведческого музея (1931), им созданы книги для школ: «Родной язык» (М., 1931), «Родной язык» (Новосибирск, 1932), «Уроки хакасского языка» (Абакан, 1932). Репрессирован в 1938 году как «народный вор». Реабилитирован в 1959 году [Люди земли хакасской 1990].

Токмашев Георгий Маркелович (1892–1960) в свое время был собирателем фольклора телеутов и алтайцев, автором и составителем около десяти учебников родного языка для первых национальных школ Горного Алтая, с июля 1917 по март 1918 года числился членом алтайской Горной Думы и Каракорума – Алтайской окружной управы – общался и сотрудничал с такими видными деятелями истории и культуры Алтая, как А.В. Анохин, Г.И. Чорос-Гуркин, Г.И. Потанин и др.

В 1934 году он был осужден и пять лет (точнее, до 1939 года) провёл в лагерях ГУЛАГА, после освобождения из заключения работал в начальной школе с. Челухоеве. В последние годы он проживал в г. Прокопьевске Кемеровской области, реабилитирован в 1992 году [Токмашев 2002].

Сведения о судьбе этих людей очень скудны. Остается собрать материалы о жизни и творчестве Н.А. Каланакова. В Хакасии и Горной Шории увековечили имена первых труженников просвещения, но в целом 30-е годы XX столетия остались не до конца исследованными.

Что касается первого букваря алтайцев Н.А. Каланакова под названием «Кызыл кун» – «Красное солнышко» (Барнаул, 1921), то это, по словам ученого-методиста Н.Н. Суразаковой, была «брошюра, красочно оформленная рисунками. На ее обложке напечатано небольшое стихотворение, призывающее учиться грамоте» [Суразакова 1995]. По этому букварю обучали грамоте алтайцев, причем и взрослых, и детей.

И только в 1924 году появился первый букварь для детей школьного возраста под названием «Алтайдын эн баштап ууренер бичиги» (М., 1924), составленный Н.А. Каланаковым. В дальнейшем им же был подготовлен ряд школьных учебников, в том числе «Бистин школ» («Наша школа», М., 1930), «Омолик юктуларга арга. Яан улустын уренетен танмалыгы» – «В помощь беднякам. Букварь для взрослых» (М., 1930), «Бичиктос» – «Букварь» (Новосибирск, 1930), совместно с К. Филатовым составлен «Ойрот букварь» (Новосибирск, 1933), совместно с И. Каспинским «Грамматика алтайского языка» («Морфология», Новосибирск, 1934), а также издана книга для чтения «Кычырар книге» – «Книга для чтения» (Новосибирск, 1933, 1934 гг.).

Будучи составителем школьных учебников, Н.А. Каланаков сочинял также стихотворения, рассказы, писал драму, осуществлял перевод художественных произведений с русского языка на алтайский. Ныне его произведения изучают в начальных классах и среднем звене школы. Так мы восполняем «белые пятна» в истории алтайской литературы и культуры, восстанавливаем имена незаслуженно забытых деятелей алтайской культуры.

Литература

Алтайцы (Материалы по этнической истории) / Составление текстов, перевод, предисловие, комментарии Н.В. Екеева. – Горно-Алтайск, 2005.

Баскаков Н.А. Северные диалекты (ойротского) языка. Диалект черневых татар (туба киж). Тексты и переводы. – М., 1965.

Гумилев Л.Н. Древние тюрки. – М., 1967.

Дело № 17702, 10 томов, Том 5. ОГПУ – Отдел государственного политического управления. Протокол допроса Н.А. Каланакова от 1934 года за 27 мая.

Дьяконова В.П. Алтайцы (Материалы по этнографии теленгитов Горного Алтая). – Горно-Алтайск, 2001.

Калачев А. Поездка к теленгитам на Алтай // Живая старина, вып. 1–4. – СПб., 1896.

- Кокышев Л.В. Куу (Лебедь) // Кокышев Л.В. Экинчи јурум (Вторая жизнь). – Горно-Алтайск, 1963.
- Люди земли хакасской. Краеведческое пособие для учащихся. – Абакан, 1990.
- Радлов В.В. Из Сибири. – М.: Наука, 1989.
- Русско-кумандинский словарь / Сост. М.Б. Петрушева, В.М. Данилов. – Бийск, 2006.
- Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху – Л., 1987.
- Сатлаев Ф.А. Кумандинцы (Историко-этнографический очерк XIX – первой четверти XX веков). – Горно-Алтайск, 1974.
- Слово об Алтае. – Горно-Алтайск, 1990.
- Суразакова Н.Н. Первые учебные книги на алтайском языке // Филология ла педагогиканын сурактары. (Вопросы филологии и педагогики). – Горно-Алтайск, 1995.
- Тематический словарь северных диалектов алтайского языка / Отв. ред. Н.А. Дьайым. – Горно-Алтайск, 2004.
- Токмашев Г.М. Телеутские сказки. – Новокузнецк, 2002.
- Уманский А.П. Телеуты и русские в XVII–XVIII веках. – Новосибирск, 1980.
- Челканцы в исследованиях и материалах XX века. – М., 2000.
- Чорос-Гуркин Г.И. Плач алтайца на чужбине // Памятное завещание. – Горно-Алтайск, 1990.
- Шерстова Л.И. Алтай-кижи в конце XIX – начале XX в.: История формирования этноконфессиональной общности: дис. ... канд. ист. наук. – Л, 1985.

ЮВЕНАЛЬНЫЙ МЕДИАТЕКСТ: ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

И.В. Rogozina, O.B. Karнаухова

Бурное развитие средств массовой информации на основе современных медиатехнологий приводит к осознанию той масштабности, которую приобретают процессы медиакommunikации в обществе, и глубины их воздействия на индивида. Как следствие, деятельность средств массовой информации характеризуется возрастанием интереса к исследованию медиавоздействия на различные социальные группы индивидов. Этот устойчивый интерес находит отражение в изысканиях различных исследовательских направлений, в фокусе внимания которых оказываются различные аспекты коммуникационных процессов, протекающих в социуме.

Наряду с появившимися электронными СМИ печатная пресса продолжает оставаться значимым источником информации, играющим существенную роль в формировании картины мира индивида [Рогозина 2003, с. 5–8]. Более того, современный этап развития печатных СМИ характеризуется растущим разнообразием медиаформатов, точно и дифференцированно создаваемых для представителей различных не только социальных, но и возрастных групп. Одним из таких форматов является ювенальный медиатекст. Этот тип медиатекста характеризуется четкой коммуникативной направленностью: он предназначен для ювенальной социально-ментальной группы, или группы подростков-реципиентов. Под социально-ментальной группой мы понимаем группу реципиентов определенного медиапродукта, характеризуемого востребованным данной группой инвентарием специфических когнитивных структур презентации реальности.

Поликодовый ювенальный медиатекст как средство социализации подростков характеризуется востребованностью у данной группы реципиентов, что свидетельствует об их заинтересованности в подобного рода изданиях. Об этом свидетельствует широкий спектр газет и журналов, имеющих в качестве целевой ювенальную аудиторию. Такими изданиями являются журналы «Бумеранг», «Крылья», «Молоток», «Мне 15», «Хулиган» и др.

В силу сказанного ювенальный медиатекст представляет собой специфический социальный инструмент познания и представления реальности: несмотря на индивидуальные особенности, реципиенты-подростки могут быть отнесены к определенному психосоциальному типу личности в силу своих возрастных особенностей и, соответственно, в силу принадлежности к определенной социальной группе.

Наш интерес к ювенальному медиатексту детерминируется как масштабом влияния данного типа текста на формирование мышления подростка-реципиента, так и стремлением выяснить природу, сущность и основные характеристики этого пока еще малоизученного медиафеномена. Картина мира подростка-реципиента как целостная и континуальная система знаний о мире в значительной степени формируется под влиянием ювенальных массмедиа и, в частности, ювенального пресстекста как особой вербально-авербальной смысловой системы, имеющей специфическую, предназначенную для данной возрастной группы когнитивную структуру, манифестирующую себя в особой целостной вербально-авербальной форме. Более того, ювенальный медиатекст, являясь особым феноменом медиапространства, может стать одним из основных источников выявления специфических ювенальных когнитивных структур и определения особенностей их представления в СМИ. В связи с востребованностью этого типа текста подростком-реципиентом и малоизученностью его когнитивной природы возникает настоятельная необходимость исследования данного медиафеномена в психолингвистическом аспекте. Тем более что современные психолингвистические исследования направлены на изучение языковых закономерностей во взаимодействии с когнитивными механизмами [Коломогоров 2003, с. 6–8].

Общеизвестно, что важнейшим свойством массмедиа является их активное влияние на мышление индивида, благодаря чему формируется сложная и многомерная картина мира, обеспечивающая социализацию реципиента. Это в полной, если не в большей мере, относится к ювенальным СМИ, влияние которых на ювенальную социально-ментальную группу трудно переоценить. Ювенальный медиатекст как определенный тип медиатекста, ориентированный на языковую личность подростка, содержит специфические для данной группы реципиентов медийные модели реальности, которые интериоризируются юными реципиентами. Являясь специфическими познавательными структурами, мыслительными универсалиями, ювенальные медийные модели реальности усваиваются реципиентами-подростками и в дальнейшем актуализируются в мышлении при восприятии новой медиаинформации.

Важной особенностью ювенального медиатекста является сопряжение в нем вербальных и невербальных кодов, вследствие чего продуцируемая ювенальной прессой медиареальность предстает как поликодовая и полимодальная, а язык выступает в ней как один из целого ряда репрезентантов различных семиотических систем. Как следствие, ювенальный медиатекст представляет собой сложную гетерогенную систему, которая является результатом целенаправленного конструирования индивидом-продуцентом актуальных для подростка-реципиента смыслов посредством вербально-невербальных кодов. В свою очередь, при восприятии ювенальный медиатекст становится объектом когнитивной деятельности подростка-реципиента, вследствие чего происходит познание им реальности. В результате выраженной полисемиотизации ювенального медиатекста моделирующие свойства продуцируемых комплексных семиотических образований, репрезентирующих фрагменты ювенальной реальности, значительно усиливаются.

Изучение лингвокогнитивных особенностей текстов СМИ, отражающих взаимодействие участников пресс-коммуникации, которое разворачивается на фоне определенного социально-культурного контекста, является в настоящее время приоритетным. Интерпретируя реальность, продуцент не может не принимать во внимание фигуру реципиента и поэтому идентифицирует себя с той или иной социально-ментальной общностью [Чернышова 2005, с. 12], что неизбежно находит отражение в подборе как соответствующих языковых средств, так и иных когнитивных структур. Идея о том, что медиатекст представляет собой процесс и результат взаимодействия реципиента и продуцента, не является новой, но ее значимость для когнитивной парадигмы трудно переоценить. С.А. Воронина фактически выражает эту же мысль, говоря о принципиальной модификации парадигмы деятельности прессы, при которой «на место объект-субъектного взаимодействия пришло субъект-субъектное взаимодействие» [Воронина 2002, с. 15], причем медиатекст является тем пространством, где это взаимодействие реализуется. Мы разделяем мнение Т.В. Чернышовой о том, что отношения между коммуникантами в СМИ носят характер когнитивно-речевого взаимодействия, при котором адресат является не только интерпретатором речевых действий адресанта, но и активным соучастником общения [Чернышова 2005, с. 7–11].

В этой связи представляется важной мысль о том, что на характер продуцирования ювенального медиатекста оказывает влияние сам реципиент-подросток, то есть значимым является факт обратной связи «реци-

пиент-продуцент», обеспечивающей двустороннее влияние этих двух участников медиа-коммуникации на содержание и оформление медиатекста. Более того, согласованность параметров коммуникантов, включающих адресную обусловленность, рассматриваемую как совпадение или близость концептуальных систем продуцента и реципиента, проистекающую из ориентации автора на модель мира, лежащую в основе концептосферы его читателя, определяет успех воздействия массмедиа на его познавательные структуры [Чернышова 2005, с. 28–30]. Иными словами, значимым является то, что при моделировании смыслового поля ювенальной аудитории продуцент объективирует модель подростков – потенциальных получателей информации с опорой как на общность когнитивных установок этой социально-ментальной группы, так и на общность привычных для подростков выразительных языковых средств, употребление которых обусловлено особенностями их речевого поведения.

Современный этап развития человечества характеризуется интенсификацией социального взаимодействия посредством СМИ, в результате чего появляются новые способы этого взаимодействия, что приводит к большей дифференциации массмедийного продукта. Генезис когнитивно специализированных применительно к различным возрастным социально-ментальным группам медиатекстов лежит в активно-познавательном отношении индивида к действительности. Это отношение выражается в онтогенетическом усвоении когнитивных структур различной степени сложности. Детерминирующим фактором здесь являются возрастные особенности реципиентов: мозг ребенка, а затем и подростка способен усваивать когнитивные структуры определенной сложности и структурированности. Иными словами, особую значимость имеет тот факт, что познание ювенальной медиареальности подростком требует фиксации ее фрагментов с помощью соответствующих возрастным особенностям когнитивных структур. Таким образом, ювенальный медиатекст предполагает отличные способы репрезентации и фиксации содержания, что обуславливает формирование специфического инвентаря доминантных ювенальных когнитивных структур у подростков-реципиентов.

Важнейшим аспектом влияния ювенальных массмедиа является осуществление когнитивных изменений у подростков на основе создания новых когнитивных структур, позволяющих интериоризировать новую для них реальность. В процессе познания и освоения подростками-реципиентами информационного пространства ими усваиваются ме-

дийные комплексные гетерогенные структуры, что ведет к медиатизации мышления этой социально-ментальной группы. Под медиатизацией мышления мы понимаем когнитивный результат воздействия ювенального полисемиотического, полимодального медиатекста на мышление подростка-реципиента, выражающийся в формировании ювенальной картины мира посредством присвоения им медийных ювенальных вербально-авербальных когнитивных структур познания и представления реальности [Рогозина 2003, с. 107]. Иными словами, ювенальная медиакартина мира – это модель ювенальной медийной реальности, формируемой в мышлении подростка-реципиента в результате интериоризации им ювенального медиатекста.

Для изучения специфики мышления ювенального реципиента представляется необходимым сконцентрировать внимание на исследовании тех специфических когнитивных структур, которые являются составляющими ювенальной медиакартину мира как специфической целостной системы знаний о мире. Речь идет о познавательных структурах, которые фиксируются в ювенальном медиатексте, ориентированном на языковую личность подростка. Продуцируемая ювенальными изданиями медиареальность обнаруживает наличие целой системы разнородных познавательных компонентов, которые актуализируют когнитивные возможности подростка и являются «строительным» материалом для моделирования им медиареальности.

Ювенальный медиатекст фокусирует внимание подростка-реципиента на актуальных для него фрагментах действительности, определенным образом структурируя события и явления реальной жизни и тем самым придавая его жизни социально значимый характер. Предметом медиамоделирования нередко становится репрезентация конкретной ситуации, вовлеченных в нее подростков, мотивов их поступков. Как правило, участники ситуации достаточно эксплицитно делятся на «хороших» и «плохих», что способствует усвоению моделей межгрупповых и межличностных отношений и эталонов оценки поведения.

Специфика познавательных процессов ювенального реципиента определяет круг актуальных, значимых для него тем – таких как музыка, Интернет, спорт, путешествия, приключения, выбор профессии, отношения со сверстниками и т.д. В ювенальном медиатексте представлены фрагменты тезаурусов языковой личности подростка, в нем используется система вербальных компонентов, позволяющих репрезентировать реальность в понятном и актуальном для реципиента-подростка медиатексте. Система узуально-стилевых средств ювенального медиатекста

включает в себя сленг, элементы просторечия, заимствованную иноязычную лексику, что соответствует специфическим нормам социально-речевого поведения данной группы реципиентов. Необходимо отметить, что использование сленга в сочетании с лексикой нейтрального стиля позволяют продуценту «сблизиться» с реципиентом, то есть выступает как средство установления с ним контакта.

Как уже отмечалось выше, для оптимизации медиавоздействия продуцент моделирует психотипические особенности аудитории ювенальных СМИ, что находит отражение и в подборе авербальных компонентов ювенального медиатекста, которые наравне с вербальными участвуют в выражении содержания. Композиционно-графическая модель медиатекста также детерминирована спецификой ментальных процессов подростка. Поэтому ювенальный медиатекст отличает ярко выраженная визуализация презентуемой информации – включение в него большого количества авербальных компонентов. Увеличение доли зрительной информации соответствует психотипическим особенностям подростка-реципиента. В частности, в ювенальном медиатексте используются оригинальные цветовые и изобразительные приемы, одной из функций которых является привлечение внимания подростка. Авербальные компоненты динамичны, контрастны, представляют собой сочетания прямых горизонтальных и вертикальных линий, активных диагоналей, что визуально отличает молодежное издание от других изданий. Другой особенностью ювенальной прессы является соотношение вербальных и авербальных компонентов, при котором фотографиям, фотомонтажам и коллажам отводится большая доля в графическом пространстве медиатекста. Оформление заголовочных комплексов ювенального медиатекста также способствует возбуждению интереса подростка-реципиента с преимущественно чувственно-наглядным мышлением.

Из сказанного следует, что ювенальный медиатекст, представляющий собой сложную вербально-авербальную смысловую систему со специфическими для ювенальной социально-ментальной группы реципиентов когнитивными структурами познания и представления реальности, заслуживает детального изучения. В этой связи возникает настоятельная необходимость выяснения специфики протекания когнитивных процессов у ювенальных реципиентов при интериоризации ювенального медиатекста. Кроме того, требуется осмыслить общие принципы построения ювенального медиатекста, выявить особенности взаимодействия в нем вербальных и авербальных компонентов, в совокупности образующих смысловую систему, что позволит определить механизмы

воздействия данного типа медиатекста на мышление подростка. Таким образом, изучение ювенальных гетерогенных когнитивных структур в психолингвистическом аспекте позволит пролить свет на познавательные возможности подростковой группы реципиентов, на особенности моделирования реальности этой возрастной группой, а значит, на формирование ювенальной медиакартинки мира.

Литература

Воронина С.А. Роль прессы в трансформативном воздействии молодежных субкультур на массовую культуру современного российского общества: дисс...канд.соц.наук. – Барнаул, 2002.

Колмогоров И.В. Репрезентация фрейма «религиозная группа» в современных центральных российских и американских печатных СМИ: дисс...канд.филол.наук. – Барнаул, 2003.

Рогозина И.В. Медиа-картина мира: когнитивно-семиотический аспект. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2003.

Чернышова Т.В. Тексты СМИ в ментально-языковом пространстве современной России: дисс...докт. филол.наук. – Барнаул, 2005.

ЧЕЛОВЕК В ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ ПРИЕМАХ ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТОВ (на материале приемов фактуального воздействия в русскоязычной и англоязычной прессе)

О.Н. Гетта

Категория адресата газетного текста становится базисной категорией, необходимой для всестороннего анализа процессов речевой коммуникации. Именно человек, получатель информации и есть основной ориентир любого адресанта газетного текста. Традиционным является мнение о том, что целью описания и/или упоминания фактов в текстах публикаций является информирование адресата. Однако анализ фактуальной информации из разделов «Деньги», «Экономика», «Finance», «Business» газет «Известия», «Financial Times» и «The Times» показал, что такого рода информация призвана выступать рациональными аргументами и, соответственно, служить для убеждения в чем-либо адресата. Считается, что именно фактуальная информация максимально беспристрастна, так как здесь не проявляется авторская оценка. На самом деле текст любой статьи в газете неизбежно субъективно маркирован и позиция автора проявляется на всех стадиях создания текста.

Интенция адресанта выражается уже в самом отборе фактов, то есть автор сам определяет, какие факты заслуживают внимания читателя. Однако нужно добавить, что выбор основного факта все же осуществляется не произвольно, а исходя из общественного интереса, степени важности и срочности информации об этом факте.

Выбор основного факта предоставляет ряд возможностей для оказания воздействия. Уместно сказать о традиционном делении на жесткие и мягкие факты. Жесткие факты отражают серьезные, часто важные в историческом плане события, требующие максимально достоверной информации, срочности сообщения и корректности изложения. Примерами таких фактов является информация о принятии законопроектов, влияющих на дальнейшее развитие экономики страны (*о разрешительном характере приобретения контрольного пакета акций иностранцами в определенных видах деятельности, связанных с использованием природных богатств.* – Изв. 03.03.06.; *legalization of cannabis.* – The Times 10.06.01), об изменении тарифов, касающихся большого количества населения страны (*увеличение стоимости звонков мобильных операторов.* – Изв. 23.06.06.; *property prices annual growth.* – FT 16.02.07). Необходимо заметить разный воздействующий потенциал двух типов основного, жесткого факта. Различают факт-событие и факт-высказывание [Лашук 2002, с. 112]. В первом случае воздействующие возможности реализуются за счет самой информационной составляющей, оценок, использованных в его описании и прогнозируемого журналистом впечатления на адресата. Например, в статье под заголовком «“АЛРОСА” и “Норникель”: впереди слияние?» жестким фактом выступает факт вероятного слияния этих компаний. В сознании читателя факт слияния воспринимается отрицательно, поскольку означает переход большей доли акций в частные руки и, соответственно, уменьшение доли государства (Известия 21.02.07). Сам факт частичного слияния компаний «Cisco» и «Apple» для совместного производства телефонов воспринимается положительно, так как означает открытие нового завода и, следовательно, не только увеличение выпуска товара, но и создание новых рабочих мест (FT 22.02.07). Факт-высказывание обладает большим воздействующим потенциалом, так как использование цитат позволяет выразить позицию автора чужими словами (см. примеры ниже). Таким образом, сам новостной факт может нести воздействующую нагрузку.

В отличие от жестких фактов, мягкие факты обладают большим воздействующим потенциалом, поскольку в их изложении допускается использование оценок, цитат, эмоционально-экспрессивных конструп-

ций. Мягкие факты часто используются журналистами в качестве дополнительной информации.

Нередко выбор дополнительной информации, то есть скрыто воздействующих фактов, определяет основную воздействующую фактуальную силу текста. Автор может сам не только выбирать выгодные мнения, оценки и события, но и актуализировать их наравне с основным фактом. Этот прием используется для сглаживания очевидного отрицательного новостного факта. В российской прессе частотность описания отрицательных фактов выше положительных. Увеличение объема отрицательной (и, более того, не всегда проверенной) информации связано с преобладанием не критических, а разоблачительных фактов для увеличения числа подписчиков [Сиротинина 1999, с. 5–17]. В англоязычной экономической прессе, несмотря на почти такое же преобладание отрицательных фактов, разрыв не столь очевиден.

Обычно на первом месте автор располагает основной факт как наиболее важный. В случае, когда новостной факт является нейтральным, автор выбирает необходимые мягкие факты для формирования определенного отношения адресата. Традиционная композиция предполагает сообщение основного факта, затем ввод дополнительной информации, формирующей нужное автору отношение к новостному факту и в конце текста выводы, подтверждающие правоту авторской позиции. Например, в статье «Sanofi bid spurned by Aventis» (Times 29.01.04) новостным фактом выступает завышение цены предложенной для продажи компании Sannofi-Synthelabo. Автор стремится вызвать отрицательное отношение к факту и показать некоторую незначительность компании без ее присоединения к более крупной фирме. В данном случае новостной факт не формирует сам по себе отрицательного отношения (компания выставила себя на продажу и запрашивает определенную цену). Автор выносит этот основной факт на первое место, но затем поясняет ситуацию дополнительной информацией. Для достижения своей цели автор выбирает необходимые мягкие факты: информацию о том, что компания Aventis, для которой предложенная цена является слишком высокой, выступает, вероятно, единственным покупателем; что поглощение Sanofi компанией Aventis получит одобрение правительства, что банки поддержат проведение сделки необходимыми кредитами именно с этой компанией.

В другом случае, когда жесткий новостной факт также не представляет широких возможностей для воздействия, автор актуализирует мягкий факт наравне с новостным. Варьирование места расположения информации является примером использования внутритекстовых ком-

позиционных средств воздействия. Дополнительную информацию автор располагает в сильных позициях заглавия, начала и конца: на первое место выводит дополнительный факт, способный затмить впечатление от новостного факта, и заканчивает текст необходимыми для формирования определенного отношения данными или цитатами. Примером такого варианта построения текста может выступать статья «Спасти рядового доллара» (Известия 10.03.06). В статье дополнительный факт – привлекательность рубля за счет ослабления доллара – выводится на важное первое место, тем самым отвлекая долю внимания от новостного факта (падения курса доллара), кроме того, в конце статьи приводятся мнения экспертов, успокаивающие читателей: *американцам просто выгодно поиграть в слабый доллар; Критического ослабления никто не допустит*. Такой выбор и расположение дополнительной информации формируют спокойное отношение читателей к основному факту. Формированию такого отношения служит прием минимизации, когда сам факт инфляции упрощают, опуская все негативные его последствия и, наоборот, разясняя возможные положительные последствия: *снижается размер долга и американские компании получают толчок для развития*. Приемы минимизации (описание по одному признаку, но с помощью синонимического ряда слов) или мультиплицирования (актуализация одного признака и затушевывание остальных) позволяют максимально раскрыть воздействующий потенциал дополнительной фактуальной информации. Прием мультиплицирования авторы сочетают с нагромождением дополнительных фактов в корпусе статьи. Например, в статье «Fed remains cautious on inflation» (FT 21.02.07) дополнительными фактами являются рост потребительских цен, рост цен на лекарства, повышение инвестиционных ставок. Все это формирует однозначно отрицательное отношение к основному факту.

Прием использования двоякого свидетельства позволяет только посредством фактуальной информации и композиционных средств воздействия, без использования авторских комментариев, поставить под сомнение какие-либо факты. Визуально читателю представлен просто набор фактов, но на самом деле первый факт воспринимается как опровергнутый вторым (*Так что же является ключевыми факторами высокой инфляции? Правительство объясняет рост инфляции активизацией работы социального сектора экономики – рост зарплат, пенсий, пособий, а также недавние новогодние каникулы. Россияне же, по результатам опросов, связывают высокую инфляцию прежде всего с ростом тарифов на ЖКХ (38%), в большинстве регионов ростом цен на бензин*

(31%) и притоком в Россию большого количества «нефтедолларов» из-за высоких мировых цен на нефть (29%). – Известия 10.03.06).

Другим известным приемом использования двух фактических свидетельств является прием сравнительного свидетельства. Описание исторического опыта или опыта других стран способствует более широкому охвату действительности, при этом служит отличным средством подтверждения авторской позиции и показывает знание автором вопроса. Например, в статье под заголовком «Энергетики заплатят за холода» основным фактом выступает сокращение поставок газа по ряду промышленных предприятий страны и, как следствие, волна возмущения производителей. Автор объясняет причины сокращения поставок и приводит дополнительные сведения о сокращениях по международным поставкам газа (*Австрия, Венгрия, Италия, Сербия и Хорватия в последнее время недосчитались российского газа. В частности, в Венгрию поставки были сокращены на 20%, в Италию – на 5,4%.* – Изв. 20.01.06). Автор показывает, что поставки были сокращены не только у нас в стране, и вкпе с убедительными причинами, приведенными в тексте, он старается показать объективное поведение компании, что способствует формированию понимающего отношения к сложившейся ситуации.

Часто фактуальная сторона статьи представлена еще и пояснениями, которые необходимы широкому кругу читателей для полного понимания текста. Прием пояснений облегчает интерпретацию статьи и демонстрирует компетентность автора (*Aventis, the Franco-German drugs group.* – Times 29.01.04).

Авторы вызывают доверие у читателя к своим словам при помощи цифровых данных, подтверждающих правоту авторской позиции. Нередко такие сведения не так важны для анализа новостного факта, однако они призваны создать впечатление максимальной информированности автора в анализируемом вопросе, создать впечатление полноценной иллюстрации ситуации (*€ 48.5 billion (£ 33.6 billion) takeover offer, a premium of 3.6 per cent, 12 billion credit.* – Times 29.01.04; *поднял цену с 18,6 млрд. евро до 26,9 млрд.; владеющего 3,7% акций; акции «Corus» взлетели более чем на 5%.* – Известия 30.06.06).

Фактуальное воздействие осуществляется за счет публикаций различных схем, таблиц, диаграмм, данных социологических опросов. Эти средства способствуют усилению воздействующего потенциала вербального текста, реализуют аттрактивную функцию, дают определенное научно-статистическое обоснование статье. Важную роль играет указание источника данных. Правильно оформленная схема со ссылкой

на солидный источник служит надежным средством убеждения адресата. Например, в статье под заголовком «Кто же останется в выигрыше?» автор дополняет текст крупной диаграммой, расположенной на сером фоне, от агентства «Mergers». Такое выделение фактуальной информации привлекает внимание читателя, а указание известного источника демонстрирует информированность автора в анализируемой проблеме. Это способствует убеждению читателя в максимальном владении автором информацией.

Большую воздействующую нагрузку несут авторские комментарии. Этот прием, комбинирующий фактуальную информацию с авторскими мнениями и прогнозами, весьма характерен для сегодняшней российской прессы, при этом авторы позволяют себе комментировать информацию, не ссылаясь на указание источника (*Что же остается делать Мордашеву? Поскольку он до вчерашнего вечера не выдвинул новых предложений, борьба за «Arcelor» для него скорее всего проиграна. Он получит свою компенсацию. Но для него остаются открытыми другие возможности.* – Известия 30.06.06) или приводя нечеткое указание источника данных (*Директора «Arcelor», по мнению акционеров, заслужили отставку. Многие другие владельцы также устали от стиля своего руководства.* – Известия 30.06.06). Последний вариант комментариев встречается чаще, но его многократное употребление создает впечатление неполного владения информацией и, следовательно, не вызывает доверия у читателя. Прием авторских комментариев чаще встречается в русскоязычных текстах, в англоязычных открыто комментарии употребляются довольно редко, чаще они присутствуют в завуалированных формах или в комбинации с синтаксическими средствами, смягчающими авторские прогнозы и оценки, которые делают их предположительными, а не фактически утвержденными (*that would create the world's third-largest pharmaceutical company; the rejection could spark a bidding war for Aventis.* – Times 29.01.04).

Ссылки на конкретный источник могут приводиться не только к схемам, диаграммам, цитатам, цифровым данным, но и к мнениям. С одной стороны, мнения и опыт представляют субъективную сторону публикации, а с другой стороны, указание конкретного авторства важных мнений по описываемой в публикации проблеме позволяет говорить о фактологической составляющей этого приема (*Many of those authorities who support decriminalization have had powerful personal experience of the difficulties of enforcement or the deleterious effects of the existing law. These include senior police officers, two former Home Secretaries, Lord Jen-*

kins and Lord Baker, as well as outgoing Chief Inspector of Prisons Sir David Ramsbotham. – The Times 10.07.01). Мнения известных людей, компетентных в обсуждаемой проблеме, служат важным средством убеждения или разубеждения адресата.

Другим способом реализации ссылок на авторитеты является использование цитат. Передача чужой речи позволяет выразить оценку эксперта и создать впечатление фактуальности, иными словами показывает компетентность журналиста, не берущего на себя ответственность за выражаемые оценки. Большим речевоздействующим потенциалом обладает факт-высказывание. Авторы приводят его в начале статьи и, пользуясь употребленными в цитате, как правило, прямыми оценками, обыгрывают их в дальнейшем тексте публикации. Примером может служить газетная статья под заголовком «As long as it trapped, the Russian bear will grow», где в начале текста приводят цитату В.В. Путина с употреблением словосочетания «*serious provocation*» в отношении НАТО («*I think it is obvious, that Nato expansion does not have any relation with the modernization of the alliance itself or with the ensuring security in Europe. On the contrary, it represents a serious provocation that reduces the level of mutual trust. And we have the right to ask: against whom is this expansion intended?*». – FT 20.20.07) и на основании его высказывания рассматривают возможность угрозы и военный потенциал обеих сторон. Когда автор располагает цитатами с нужными для него яркими оценочными лексемами, то от себя старается сообщить лишь фактические данные со сравнительно небольшим количеством прямых оценок, а в цитатах приводит резкие эмоционально-оценочные лексемы (*unusual recent weakness, sequence of tepid 0.1 per cent readings.* – FT 21.02.07). Нужно отметить, что нередко англоязычные статьи загружены сложными предложениями (чаще сложноподчиненными) из-за обязательного указания источника данных (*The Federal Reserve grew more confident that...; the minutes show that; Haseeb Ahmed, an economist at JP Morgan, said...; according to report...; according to fresh government figures...* – FT 21.02.07). Однако в контексте статьи такой синтаксис не затрудняет восприятие, а, наоборот, формирует убеждение в правильности позиции автора, многократно подтвержденное компетентными источниками.

Цитация получила широкое распространение в современной прессе. Но этот прием не всегда правдив, чаще лишь правдоподобен, так как, несмотря на впечатление достоверности, факт уже интерпретирован нужным для автора способом. Уместно сказать об усеченных цита-

тах, когда, экономя место, журналист приводит цитату не полностью, а в нужной для автора части (*Aventis ... said that the bid was «of a hostile nature and does not take into account the wide range of risks associated with the move; a mix of 81 per cent shares and 19 per cent cash, was “attractive”.* – Times 29.01.04), о пересказанных цитатах, когда автор передает смысл высказывания своими словами (*Aventis said that Sanofi bid, which represented a premium of 3.6 per cent on its previous closing share price undervalued the company* – Times 29.01.04). При использовании усеченных цитат автор реализует воздействующий потенциал цитаты в соответствии с собственным коммуникативным намерением. Следует заметить, что в пересказанном виде фактуальная сила приведенных мнений снижается и ответственность за использованные в них оценки частично перекладывается на журналиста. Часто пересказанные цитаты конвергируют с авторскими комментариями (*Deutsche Bank said in a research note that although Roche, which is being looked at by Novartis, could be interested, it would have to contend with a potential blocking vote from Novartis, government support for Aventis tie-up and its own complicated share structure.* – Times 29.01.04). Это создает впечатление обилия авторских проявлений в тексте, что снижает впечатление объективности статьи, хотя сам факт ссылок на конкретное авторство приведенных мнений все же говорит в пользу их достоверности. Усеченные цитаты помогают в формировании необходимого отношения, однако не стоит забывать о меньшей степени их доказательности по отношению к полным цитатам. Если же усеченная или пересказанная цитата приводится еще и с нечетким указанием источника данных, то степень ее объективности значительно уменьшается (*Analysts said that these could include putting itself up for auction, seeking offers from potential «white knight» counter-bidders or trying to force Sanofi to raise its €60.43 per share bid price; Rumors of a bid lifted Aventis shares sharply last week.* – Times 29.01.04).

Таким образом, газетный текст на всех этапах его создания ориентирован на адресата. Использование любой, даже, казалось бы, нейтральной фактической информации, определяется оказанием воздействия на читателя. Формирование оценки факта, ненавязчиво внушенной адресату посредством информационной составляющей текста, осуществляет воздействующую задачу – убеждает читателя в правильности позиции автора. Причем задача автора – создать впечатление, что это мнение и самого читателя совпадающее с авторской позицией.

Литература

Лащук О.Р. Проявление авторской позиции в материалах информационных агентств // Мир русского слова. – 2002. – №5.

Сиротинина О.Б. Современный публицистический стиль русского языка. – Russistik (Берлин). – 1999. – №1–2.

ПРИРОДА ДИСКУРСА В «ОСВОБОЖДЕНИИ ТОЛСТОГО»

М.А. Пьянзина

Определяя жанр «Освобождения Толстого» И.А. Бунина как «книгу», исследователи творчества последнего классика русской литературы вполне сознательно уходят от решения вопроса о жанре этого необычного произведения. «Уход» этот столь же закономерен, как закономерен и естествен «уход» бунинского героя – «старца Льва» – из Ясной Поляны. И диктуется такая «нерешительность» литературоведов нерешенностью (а может быть, и неразрешимостью) самой проблемы жанра в литературе XX века.

В книге И.А. Бунина «Освобождение Толстого» скрестилось несколько дискурсов, характеризующих как творчество Бунина, так и культуру русской эмиграции в целом.

1. Бунин неоднократно заявлял, что одна из важнейших задач всех пишущих о Толстом – сохранить правду о великом человеке. И когда после 1927 года, юбилея советской власти, происходит резкий перелом в самоощущении эмиграции, наступает осознание того, что изгнание будет длительным, возможно пожизненным, появляется мысль, что русская культура умерла, эмигранты же – последние ее представители. С этой точки зрения показательным, что Бунин пишет об умирании Толстого, об осознании и преодолении смерти.

2. «Освобождение Толстого» стало итоговым сочинением в «теме Толстого», постоянно занимавшей Бунина на протяжении всего послереволюционного творчества. Первоначально Бунин писал обычные воспоминания о Толстом, усложняя их цитатами из разных, важных, на его взгляд, источников – и лишь затем, в ходе работы, у писателя окончательно сложился замысел особого сочинения – о Толстом и одновременно о спасении от смерти.

3. Посвящая свое итоговое сочинение любимому писателю, Бунин получал возможность высказать сокровенные мысли о писательском мастерстве, о природе художественного творчества и, наконец, о себе как

о писателе. Убранная в подтекст, но четко просматриваемая тема – сходство Бунина с Толстым. «Освобождение Толстого», как и написанная до этого «Жизнь Арсеньева», во многом становится намеком на психологическую автобиографию, автобиографией в строгом смысле не будучи. Все подмеченные совпадения служат доказательством того, что художественное творчество «едино» во всех временах и странах, а значит – вне времени и пространства, вечно.

4. «Вечные темы», к которым возводится «тема Толстого», влекут за собой и основную тему позднего творчества Бунина – тему преодоления смерти. И повествование о жизни и смерти Толстого становится рассказом об обретении человеком «освобождения от смерти».

Повествование движется скачками – из одного дискурса в другой, что подчеркнуто «обрывочным» построением текста. Повествователь переходит от биографии Толстого к выпискам из его дневников, комментирует их; отталкиваясь от мнений оппонентов, формулирует свои; делает выписки из сочинений Толстого, от них переходит к священным буддийским текстам и вновь возвращается к Толстому. Эта «дискретность» композиции тесно связана с новаторством Бунина в сфере краткого рассказа. Ю.В. Мальцев пишет об этом периоде творчества писателя: «То, что в ранних работах Бунина казалось критикам избыточностью текста, ненужными деталями – оказалось самым главным. Деталь стала рассказом, а сам “текст” исчез как излишний» (Цит по: [Ерофеев 1987, с. 146–175]).

«Дискретное» строение спровоцировано сложной тематикой «Освобождения Толстого». У книги, по сути, две темы, обозначенные двумя словами заглавия. Это смерть и личность великого писателя. Они различаются по существенным архитектурным признакам. Массу биографического материала (включая огромные цитаты) было необходимо соединить с философскими рассуждениями.

Внутри каждой главы чередуются биографические и философские фрагменты. Их неожиданное соединение создает эффект многозначности: биографический текст как бы подтверждает философские построения, а философские отрывки объясняют странные и непонятные моменты биографии. Так, самая философски насыщенная пятая глава построена следующим образом. В начале речь идет о запустении Ясной Поляны после смерти Толстого. Слова Софьи Андреевны «Через три дня дом совсем мертвый будет...» [Бунин 1967, с. 39] служат лейтмотивом и акцентируют важную мысль, вводят «отступление» о противоречивости супружеской жизни Толстых. Их повторение через три страницы

[Бунин 1967, с. 42] создает впечатление непрерывности повествования. Далее следует описание дома, завершающееся вновь словами о Софье Андреевне и ее другой чрезвычайно важной фразой: «Сорок восемь лет прожила я со Львом Николаевичем, а так и не узнала, что он был за человек!» [Бунин 1967, с. 43]. Далее идут цитаты из «Первых воспоминаний», перебиваемые авторским комментарием о важности этих строк. За этим следуют буддийские размышления Бунина, которые вступают в параллельные отношения со строками «Первых воспоминаний». И, наконец, незаметный переход цитаты в комментарий, развивающий центральную идею книги об «освобождении от смерти». Таким образом вырисовывается четкий план главы: после комментария о неясности самого главного все изложение отвечает на этот главный вопрос.

С точки зрения развития мотивов книга может быть условно поделена на две части: главы I–V можно назвать «теоретическими», в них излагается собственно бунинское понимание личности и творчества Толстого, главы VI–XXI – «иллюстративными», так как они на богатом материале раскрывают сформулированное в первых пяти. Черта проведена крайне условно: концепция и иллюстрация у Бунина неразделимы.

Единство обеих тем задает первая глава, выполняющая функции увертюры. Первый абзац формулирует философскую тему: «... освобождение от смерти найдено» [Бунин 1967, с. 7]. Освобождение от смерти есть освобождение души от форм телесной жизни. Последняя строка главы вводит тему «старца Льва из Ясной Поляны» [Бунин 1967, с. 8]. Так возникает противоположность тем – смерти и жизни «старца Льва», задающая динамику развития повествования.

Но обрамление отрывка указывает на его особое значение. Первая глава оканчивается словами о «покинувших родину ради чужбины» (в прямом и переносном значении; игра смыслами напоминает и о Бунине), к лику которых «сопричислился и старец Лев из Ясной Поляны» [Бунин 1967, с. 8].

Указание на судьбу в главе отсылает к предсмертному уходу. Значит, в жизни Толстого было много освобождений, последнее из них – лишь самое значительное. Местоимение «эта» усиливает значение – смертей тоже было много.

Последнее освобождение, уход из жизни, оказывается самым важным в жизни человека, его земной миссии – многозначным символическим «исходом». Смерть оказывается и основной темой творчества Толстого: «... он начал говорить “об этом” с самых ранних лет, а впоследствии говорил с той одержимостью однообразия, которую можно

видеть или в житиях святых, или в историях душевнобольных» [Флоренский 1998, с. 33].

Выход из бессмысленной жизни – в «преодолении» тела, в «потере «всего, кроме души» [Флоренский 1998, с. 38]. Необходимо освободиться от материи, ибо в ней зло; зло и в личности, так как личность – воплощение материи: «То-то и хорошо, что к этому тому, что останется жить после меня, не будет примешана личность...» [Флоренский 1998, с. 48].

Последнее освобождение (уход и смерть) есть потеря тела, потеря личного и возвращение к своему давнему началу. Бунин подробно рассказывает об уходе. Все бытовые причины ухода верны лишь в малой степени: «Как бы там ни было, он решился наконец и на полную возможность «умереть где-нибудь на большой дороге» и на «жестокость» [Бунин 1967, с. 12].

Далее используется излюбленная мысль позднего Толстого об особой значимости последних дней, часов, мгновений жизни, когда многие, по мысли Л.Н. Толстого, обыкновенно думают, что жизнь старых стариков не важна, что они только доживают свой век. Это неправда: в глубокой старости идет самая драгоценная, нужная жизнь и для себя и для других. Ценность жизни, по его мнению, обратно пропорциональна квадратам расстояния до смерти и особенно же ценна последняя минута умирания.

Бунин указывает, что только последние дни жизни раскрывают подлинного Толстого.

Толстой, по мнению Бунина, в этот момент понял нечто невероятно важное, что уже не смог высказать: «Так весь день он старался сказать что-то, метался и страдал» [Бунин 1967, с. 26].

Бунин выписывает реплики последних дней: «Бог есть неограниченное Все, человек есть только ограниченное проявление Бога» [Бунин 1967, с. 24].

Мы видим здесь нечто намеренно поставленное в конец: биографический дискурс расширяется в дискурс творчества.

«Это стремление к потере особеннности и тайная радость потери ее – основная толстовская черта» [Бунин 1967, с. 31].

Опять биография переходит в философию. Цель жизни лежит за ее пределами, за пределами жизни. Выход за пределы есть возвращение к метафизическим основам своего бытия. Возникает идея цикличности жизни.

В первой половине жизненного пути Толстого (Выступления) – зародыш второй (Возврата). Обреченность Толстого – это знание высшей истины, и даже в счастливейшие моменты своей жизни он тоскует: «Ужас-

но, страшно, бессмысленно связать свое счастье с материальными условиями – жена, дети, здоровье, хозяйство, богатство» [Бунин 1967, с. 41].

А по-особому преломленная концепция Памяти завершает объяснение личности Толстого (обширная цитата из рассказа «Ночь» в пятой главе создает переход к философскому дискурсу).

Понятие «освобождение» окончательно раскрывается через легенду о Будде – самоотречение, разоблачение духа от материального одеяния, углубление в единое истинное бытие.

Основной темой VI–XXI глав становится жизнь и творчество Толстого; философские построения Бунина лишь подразумеваются, функция этих глав – соответствующим биографическим материалом осветить с новых точек зрения уже изложенные теоретические положения.

Через игру словами вводится мысль о «сумасшествии» Толстого как освобождению от «лишнего ума». XVI глава, описывая духовный перелом в Арзамасе, развивает эту тему. В XX главе Бунин вновь обращается к перелому, осмысляя риторическую фразу «Не могу уйти от себя!» Сумасшествием оказывается постоянная мысль о смерти.

Все характеристики, рассыпанные в «иллюстративных» главах, должны подвести к сформулированному в X главе: «... насколько первобытен был по своей физической и духовной природе тот, кто <...> носил в себе столь удивительную полноту <...> развития всего того, что приобрело человечество за всю историю на путях духа и мысли» [Бунин 1967, с. 97].

XVII глава представляет галерею смертей, описанных Толстым: от первого произведения, «Детства» (как и в биографии, смерть матери), вплоть до последних размышлений. Так приходит понимание бессмысленности, «ничтожности жизни» (последние мысли Анны Карениной, XII глава). Это первая ступень «освобождения»; вслед за ней осознается «ничтожность смерти» [Бунин 1967, с. 162].

Спасение от смерти, по мысли И.А. Бунина, можно найти только через чувственное «умствование». Такова основная мысль последней, XXI главы: «Но люди находят спасение не умом, а чувством <...> все в чувстве. Не чувствуешь этого «Ничто» – и спасен» [Бунин 1967, с. 135]. Спасение души не зависит от вероисповедания. Важна вера: «Есть ведь миллионы не-христиан, миллионы не признающих Христа богом и, однако, верующих» [Бунин 1967, с. 132].

Неожиданное расширение концепции книги в финале сообщает замкнутой композиции открытость: появляется мысль, что такой же взгляд на Толстого (как на пророка, победившего смерть) возможен

с точки зрения христианства или другой религии. Значит, возможно продолжение книги.

В «Освобождении Толстого» цитируется или упоминается огромное количество различных работ о Толстом. Ни с одной из них автор не согласен.

Он освобождает от ненужных ему деталей семантическое поле не только текста, но и контекста. Так же активно спорит Бунин со всеми суждениями, попавшими в оппозицию его концепции.

Полемика играет одну из важнейших ролей в «иллюстративных» главах и совсем не затрагивает «теоретические». Важная ее особенность в том, что это полемика «по ходу»: полемические отрывки органически вплетены в текст, поскольку спор ведется по ходу изложения. Высказывая какую-либо мысль, Бунин сразу полемизирует с возможными оппонентами – всем тем, что противоречит ей в существующей литературе о Толстом. Создается впечатление диалога, соединения разных точек зрения, что, в числе прочего, выполняет главную функцию: свидетельствует о сложности и многомерности личности Толстого, не объяснимой ни одной теорией, кроме бунинской.

Автор «Освобождения Толстого» не может согласиться с тем, что Толстой рассуждал о смерти не как философ, а как естествоиспытатель, что Толстой не создал философии смерти. В XVII главе подробно доказывается, что галерея умирающих героев и есть величайшая философия смерти. В финале Бунин спорит с тезисом Алданова о том, что Толстой не видел «звездного неба над головой». Отрицание благ земной жизни, науки и прогресса есть взгляд «с точки зрения вечности» – подобный тому, каким взглянул на мир князь Андрей, увидев небо. Это и есть «звездное небо над головой» [Бунин 1967, с. 161–162].

Таким образом, «Освобождение Толстого» превратилось в книгу о преодолении смерти. Увертюра создает инерцию восприятия текста: читатель ждет ответа на вопрос: как, каким образом Толстой победил смерть. Повествователь как бы тянет с ответом до самого конца, переключая внимание читателя на биографию. Но вопрос остается. Последние главы книги могут вызвать недоумение: прямого ответа так и нет. Дискурс, созданный Буниным, включающий Соломона, Будду, Магомета, Христа и Толстого, дает осечку на Толстом. Вместо указания «пути в вечность» («узких врат», о которых говорилось в начале книги), дискурс раскрывается в жизнь, вбирая в себя все новые и новые значения и практически растворяясь в ее многообразии.

Складывается впечатление, что полученный ответ не удовлетворяет самого автора, что сам он ощущает недостаточность решения: «Не чувствую этого «Ничто» – и спасен» [Бунин 1967, с. 165]. К такому же решению Бунин приходил много раз до этого, говоря о непостижимости смерти.

Вселенский смысл прозрений Толстого, обозначенный в первых главах, к концу книги оборачивается словами молитвы, произнесенными так же, как произнес бы их «всякий просто верующий человек» [Бунин 1967, с. 165]. Священная книга превратилась в «исследование».

Разговор с Толстым для И.А. Бунина – продолжение размышлений о человеке, длящаяся полемика с современниками. В человеке, по мысли писателя, реализуется некое высшее предначертание, независимое от индивидуальной человеческой воли, нечто общее, свойственное человечеству в целом. Но в то же время человек есть нечто предельно конкретное, телесное, реализованное в пространстве и времени.

«Проживая» в своей книге жизнь Толстого, Бунин открывает путь «освобождения» и для самого себя, и для всех тех, кто, презрев муки и боль, способен по нему следовать. Так философия «освобождения» становится своеобразной религией, а книга в целом приобретает черты и звучание «жития» «старца Льва», причем по сути носит характер глубоко христианский, основанный на понимании мира как Божьего творения, а человека как существа, обладающего способностью к вечной духовной жизни.

Таким образом, перед нами – философская проза, процесс раздумий, переданный не в форме совершенного постижения истины, а в ходе ее обретения, раздумий. Художник слова И.А. Бунин размышляет в русле религиозно-философской мысли начала XX века, воссоздавая не только результат своих поисков, но и сам ход мысли о жизни человека, процесс раздумий то повествователя, то самого «великого старца».

Литература

- Бунин И.А. Собрание сочинений в 9 т. – М., 1967. – Т. 9.
Ерофеев В.В. Розанов против Гоголя // Вопросы литературы. – 1987. – №8.
Словарь античности. – М., 1989.
Флоренский П.А. Имена: Сочинения. – М.; Харьков, 1998.

САПОГИ И ЛОХМОТЬЯ: СИМВОЛИКА ОДЕЖДЫ В «ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОЭМЕ» А.С. МАКАРЕНКО

К.В. Климов

В «Педагогической поэме» А.С. Макаренко (1935) складывается особая система костюмов. Одежда, как нечто организующее, ставящее человека в строго определенный ряд, всегда соотносится с изменениями, происходящими со всем коллективом. Оппозиция колонистов и различных противостоящих им сил часто строится на различиях в одежде; таков, например, внешний вид деревенской молодежи или представителей «разложившейся колонии» Куряжа и т.д. Одежда становится одним из оснований противопоставления, жестко закрепляясь за какой-либо группой.

Это особенно касается форменной одежды – как формы колонистов, так и любой другой. Например, шефы-чекисты, впервые появляясь в тексте, получают только одно наименование – «малиновые петлицы»: *«... пристально глядявался в неудачных беглецов человек с малиновыми петлицами. Мы остановились. Обладатель петлиц стоял в санях и держался за плечи кучера... Через десять минут мы были в комендатуре ГПУ, и только тогда Антон изобразил на физиономии неприятное удивление:*

– От смотри ты, на ГПУ наскочили...

Нас обступили люди с малиновыми петлицами, и один из них кричал на меня...

Малиновые петлицы смеялись» [Макаренко 1979, с. 214].

Отношение к форме (в противовес содержанию) позиционируется положительно не только фактически, но и формально (то есть теоретически):

«– Ваши знамена, барабаны, салюты – все это ведь только внешне организует молодежь.

Я хотел сказать: “Отстань!” – но сказал немного вежливее:

– Вы представляете себе молодежь или, скажем, ребенка, в виде какой-то коробочки: есть внешность, упаковка, что ли, а есть внутренность – трубуха. По вашему мнению, мы должны заниматься только трубухой? Но ведь без упаковки вся эта драгоценная трубуха рассыплется» [Макаренко 1979, с. 536].

Вообще, это один из постоянных мотивов в тексте – стремление к максимальной закрытости в одежде (характерное, в первую очередь,

для одежды форменной). Так, уже на первой странице «Педагогической поэмы» в разговоре рассказчика с заведующим губнаробразом моделируется соответствующий стандарт внешности:

«– Да... Для тебя бы это самое: построить новое здание, новые парты поставить, ты бы тогда занимался. Не в зданиях, брат, дело, важно нового человека воспитать, а вы, педагоги, саботируете все: здание не такое, и столы не такие. Нету у вас этого самого вот... огня, знаешь, такого – революционного. Штаны у вас навывпуск.

– У меня как раз не навывпуск.

– Ну у тебя не навывпуск... Интеллигенты паршивые!.. Вот ищу, ищу, тут такое дело большое: босяков этих самых развелось, мальчишек – по улице пройти нельзя, и по квартирам лазят» [Макаренко 1979, с. 5].

Примечательней всего здесь не сразу бросающаяся в глаза оппозиция: не бездельника – занятого человека, а педагога Макаренко с заправленными (скорее всего, в сапоги) брюками и буквально «босых», грабящих квартиры. Помимо закрытости, заправленные в сапоги штаны и особенно популярные тогда галифе актуализируют еще одно значение, находящееся в области геометрической знаковой системы, присущей одежде, – значение силуэта, в данном случае овального.

В истории моды тяготение к овальному силуэту встречается довольно редко и чаще всего связывается с какими-либо великими потрясениями в обществе, например с Французской революцией, когда противопоставление бедноты и аристократии выражалось в том числе и в длине штанов («санкюлот» – букв. «без коротких штанов»)¹. Другой, более близкий пример – «козацкие шаровары». В России овальный силуэт был особенно популярен в 1920-е годы, действительно не самые спокойные.

Конфликт между педагогом и «босяками» на уровне обуви разрешается довольно неожиданно. Вот описание парадного строя воспитанников колонии имени Горького: «Одежную бедность мы легко преодолели благодаря нашей изобретательности и смелости. <...> Не было у нас и новой, красивой обуви. Поэтому на парады мы приходили босиком, но это имело такой вид, как будто это нарочно. Ребята блистали чистыми белыми сорочками. Штаны хорошие, черные, они подвернуты до колен и сияют внизу белыми отворотами чистого белья. И рукава сорочек подняты выше локтя» [Макаренко 1979, с. 228–229].

Как видно из этого примера, стремление сохранить овальный силуэт настолько велико, что этому не может помешать даже отсутствие главного инструмента его создания – высокой обуви.

¹ См.: Васильев А. Европейская мода. Три века. Из коллекции Александра Васильева. – М., 2006.

Объяснение данному обстоятельству можно найти у Р. Барта в работе «Система моды»: «...задачей является не явить зрелище беспорядка, а скорее придать одежде некое движение: слегка нарушенное равновесие – это просто признак какой-то тенденции (с наклоном, с раскачкой); движение – метафора жизни, все симметричное неподвижно и бесплодно оттого, естественно, что костюм был строго симметричен в консервативные эпохи, а освобождение одежды в известной мере сводится к нарушению ее равновесия» [Барт 2003, с. 185]. Р. Барт говорит о симметрии, но буквально то же самое можно сказать о такой категории, как устойчивость. Как неподвижно и безжизненно симметричное, так безжизненно устойчивое, и так же всегда устойчив силуэт в консервативные эпохи.

Однако неустойчивость не зеркальное отражение устойчивости. Выше уже говорилось, что появления овального силуэта довольно редки в истории и всегда связаны с большими потрясениями. Неустойчивость всегда граничит с падением и разрушением. Движение здесь неуправляемое, фатальное, не метафора жизни, а знак смерти.

Сложно представить менее устойчивую фигуру, чем овал. Единственный близкий в этом смысле овалу силуэт – треугольник, направленный острым углом вниз. Такой треугольник в качестве силуэта характерен для внешности представителей самых, пожалуй, агрессивных современных молодежных субкультур – как реальных, так и вымышленных: речь идет о скинхедах и молодежных бандах, изображенных в «Заводном апельсине» (1962) Э. Берджесса.

Много общего можно отыскать в «униформе» традиционных скинхедов и в русской военной форме 1920-х годов. Так, подтяжки при обязательных узких штанах не несут практической нагрузки, а выполняют ту же функцию, что и португеза в военной форме – декоративную. Но, актуализируя сему связанности, и португеза, и подтяжки являются заместителями (причина такого замещения – желание воссоздать все тот же неустойчивый силуэт: треугольник или овал) пояса, который – в качестве предмета мужской одежды – издревле связывался с войной: известен библейский афоризм «перепоясать чресла» [3-я Царств 18: 46; К Ефесеям 6: 14]; в Западной Европе полноправного рыцаря называли «опоясанным», пояс входил в перечень рыцарских атрибутов наравне со шпорами; на Руси бытовало выражение «лишить (отрешить) пояса», что значило «лишить воинского звания» [Семенова 1997, с. 350] и т.д. В отношении обуви тоже все повторяется почти буквально: русские сапоги в униформе молодых радикалов заменяются специальными высо-

кими ботинками («govnodavu» у Берджесса), а штаны демонстративно подворачиваются. Одно из значений, связанных с сапогами, также отсылает к армии и войне, и это значение может существенно усиливаться – «кованные сапоги», и именно из металла изготовлены носы тяжелых ботинок (первоначально предназначавшихся для такелажных работ). Объемные куртки скинхедов и подбитые ватой плечи у «malchikov» Берджесса завершают треугольник.

В таком контексте сапоги становятся знаком общих исторических и культурных изменений. Конкретные причины изменения роли сапог в первые десятилетия XX века связаны, возможно, также и с бедственным положением деревни в этот период, с повальным бегством в города. Действительно, сапоги были всегда приметой городской жизни, и, когда на смену чиновникам, которые «родились и выросли в Петербурге» и уже выработали приемы обращения с такой обувью, пришли вчерашние лапотные крестьяне (в том числе и призванные на Первую Мировую войну), отношение к сапогам должно было измениться. Начали вырабатываться новые ритуалы, окончательно оформившиеся к 1930-м годам и воплотившиеся в знаменитых сталинских растоптанных сапогах.

В «Педагогической поэме» сапоги – один из лейтмотивов, который, появившись на первой странице, трагически завершается в финале, уже в коммуне им. Дзержинского: «...Сапожную мастерскую мы с хлопцами в первые же дни затащили в темный угол и удушили, навалившись на нее с подушками. Чекисты сделали вид, будто они не заметили этого убийства» [Макаренко 1979, с. 619].

Сапоги неразрывно связаны с колонией; только они могут репрезентировать ее во внешнем мире, например стать подарком Горькому, «шефу, другу и учителю»: «Только Гуд со своим отрядом нашел выход. ...

– *Итальянцы и французы не носят таких сапог и шить их не умеют. А только какие вы сапоги пошьете Горькому? Надо же знать, какие он любит...*

Калина Иванович тут же подтверждал:

– *Разве я тебе неправильно сказав? Такой еще нет хвирмы: Гуд и компания. Хвирменные сапоги вы не пошьете. <...> Хорошо это будет, если вы Горькому мозолей наделаете?*

Гуд скучал и даже похудел от всех этих коллизий.

Ответ пришел через месяц. Горький писал: “Сапог мне не нужно. Я ведь живу почти в деревне, здесь и без сапог ходить можно”.

Калина Иванович закурил трубку и важно задрал голову:

– *Он же умный человек и понимает: лучше уж ему без сапог ходить, чем надевать твои сапоги, потому что даже Силантий в твоих*

сапогах жизнь проклинает, на что человек привычный...» [Макаренко 1979, с. 357–358].

Именно сапожник Гуд – командир отряда сапожников, не случайно носящего первый номер. Человека, связанного с темой сапог в «Педагогической поэме», можно назвать неудачником – так далеки его устремления от принятой здесь аксиологической системы:

«– От я не поеду ни на какой рабфак. Я буду сапожником и буду шить хорошие сапоги. Это разве хуже? Нет, не хуже. А жалко, что хлопцы уехали, правда ж, жалко?»

Корявый, кривоногий, основательный Кудлатый строго посмотрел на Гуда:

– Из тебя и сапожник поганый выйдет. Ты мне на прошлой неделе пришел латку, так она отвалилась к вечеру» [Макаренко 1979, с. 345].

Только Гуд напивается в колонии после преодоления «болезни роста» – пьянства:

«– Я выпил, потому что так и нужно. Я сапожник, но душа у меня есть? Если столько хлопцев поехали куда-то к чертям, и Задоров тоже, могу я это так перенести? Не могу я так перенести. Я пошел и выпил на заработанные деньги. Подметки мельнику прибивал? Прибивал. На заработанные деньги и выпил. <...> Вот перед вами – плохой сапожник Гуд» [Макаренко 1979, с. 345].

Гуд воплощает сущность колонии имени Горького, оказываясь неспособным отказаться от замкнутости коллектива, его самооценности. Конец колонии – превращение ее в статичную коммуну имени Дзержинского – для него равнозначен смерти и не воспринимается как закономерный итог.

Отношение автора к Гуду самое дружелюбное, хотя и ироническое; однако эта ирония лишь маскирует автопсихологическое сожаление об уходящей романтике и о неизбежных изменениях. Макаренко так же связан с темой сапог, как и Гуд (англ. «good»). Гуда только раз называют «хорошим сапожником», в самом конце, уже в 35-м году, когда полувоенная одежда, в которой ходил сам Макаренко, воспринимается как забавный анахронизм. Так, в рассказе И. Ильфа и Е. Петрова «Широкий размах» (1935) военный стиль одежды героя трактуется уже сугубо комически: *«Перед ним стоял завхоз в кавалерийских галифе с желтыми леями. Завхозы почему-то любят облекать свои гражданские тела в полувоенные одежды, как будто бы деятельность их не в мирном пересчитывании электрических лампочек и прибавлении медных инвентарных номеров к шкафам и стульям, а в непрерывной джигитовке и*

рубке лозы» [Ильф, Петров 1985, с. 61]. У ностальгирующего Макаренко интонация совсем другая: *«Но многих я и растерял за семь лет. Где-то в лошадином море завяз и не откликается Антон, где-то потерялись бурно жизнерадостный Лапоть, хороший сапожник Гуд и великий конструктор Таранец»* [Макаренко 1979, с. 635].

Идея самоценности борьбы – одна из главных в «Педагогической поэме», которая – одно большое описание обряда инициации, процесса переходного, порогового. Воспринимать процесс перехода как самоценный и бесконечный – один из признаков культуры 1920-х годов (ср., например, осмеянный А. Аверченко лозунг «Защищайте революцию!»: *«Товарищи! Защищайте молнию! Не допускайте, чтобы молния погасла от рук буржуев и контрреволюционеров!»*) [Аверченко 1990, с. 182]). Но переход, находясь между смертью и новым рождением, особенно если он так длителен, вбирает в себя множество разнородных элементов и уже несет в себе зачатки будущей статики; это касается как колонии, так и общества в целом.

Эта внутренняя неорганичность проявляется и в одежде, сочетающей в себе элементы как прошлого (выше говорилось о сапогах, примете революции и Гражданской войны), так и будущей неподвижности 1930-х годов – тюбетейки, части парадной одежды горьковцев. В. Паперный пишет, что в 1930-е годы культура («Культура 2») оказалась ориентирована на иранскую традицию, в противоположность хаотичной «Культуре 1» 1920-х годов, относящейся к Востоку довольно нейтрально.

Тюбетейка горьковцев значима как предтеча статики 1930-х, заложенная уже в переходном периоде инициации.

Одежда символизирует саму колонию, для вступления в ее ряды иногда достаточно лишь надеть форму колониста. К примеру, так выглядит один из этапов предпринятого горьковцами «завоевания Куряжа» – «разложившейся» колонии: *«Это и есть то самое преобразование, на организацию которого мы истратили две недели. Свежие, вымытые лица, еще не потерявшие складок бархатные тюбетейки на свежестриженных головах мальчиков. И самое главное, самое приятное: только что изготовленные веселые и доверчивые взгляды, только что зародившаяся грация чисто одетого, освободившегося от вшей человека»* [Макаренко 1979, с. 539].

Интерпретацию этому чуду дает сам Макаренко, и, несмотря на ироничный тон, простую и самую логичную: *«Олег Огнев растягивает длинные, интеллигентно чуткие губы и сдержанно кланяется в мою сторону»*:

– *Крещение сих народов совершилось при моем посильном участии. Отметьте где-нибудь в записной книжке на случай каких-нибудь не столь удачных моих действий.* <...>

“Крещение и преображение, – по дороге соображаю я, – все какие-то религиозные штуки”. Но улыбающееся лицо Короткова мгновенно затирает и эту оригинальную схему» [Макаренко 1979, с. 539]. Глава, однако, называется все-таки «Преображение»; обращает на себя внимание и неслучайная фамилия героя, предложившего «оригинальную схему» – Огнев.

В данной статье были рассмотрены лишь некоторые вопросы, связанные с символикой одежды в «Педагогической поэме» А.С. Макаренко. Остались в стороне многие аспекты, связанные с национальными, театральными, игровыми костюмами, оппозициями города и деревни, наготы и костюма и др. Тем не менее приведенный материал убедительно доказывает, что даже такой узкий аспект семиотики быта, как одежда (или еще более узкий – обувь), воплощает в себе универсальные категории и значения культуры. То же самое можно сказать о любом артефакте, но у одежды в этом смысле есть одно неоспоримое преимущество перед артефактами вообще: она может функционировать не только самостоятельно, но и в качестве элемента динамической системы – моды, на которую непосредственно влияют все исторические и социальные изменения и потрясения, что дополнительно семантизирует одежду как структурно, так и исторически.

Литература

- Аверченко А. Дюжина ножей в спину революции. – Л., 1990.
 Барт Р. Система моды. – М., 2003.
 Васильев А. Европейская мода. Три века. Из коллекции Александра Васильева. – М., 2006.
 Ильф И.А., Петров Е.П. Рассказы, фельетоны, статьи. – М., 1985.
 Кирсанова Р.М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. – М., 1989.
 Кирсанова Р.М. Нагота и одежда: К проблеме телесности в европейской культуре // Ступени. Философский журнал. – Л., 1991. – № 1.
 Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII – первой половины XX века. Опыт энциклопедии. М., 1995.
 Лурия А.Р. К психоанализу костюма // Овчаренко В.И., Лейбин В.М. Антология российского психоанализа в 2-х т. – М., 1999. – Т. 1.
 Макаренко А.С. Педагогическая поэма. – М., 1979.
 Паперный В. Культура 2. – М., 1996.
 Семенова М. Мы – славяне! – М., 1997.
 Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. – М., 1997.

СНЫ И СНОВИДЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ А. ГАЙДАРА

Л.А. Позднякова

Навязчивые сновидения стали преследовать писателя после комиссования из армии. Именно в период демобилизации А. Гайдару был поставлен диагноз – травматический невроз, который, по предположению М.А. Литовской, лечили путем толкования снов. В дневниковых записях писателя сохранились некоторые «реликты» классификации снов, в частности писатель трактовал сны по трем схемам:

Сон по схеме 1. *Я возвращаюсь в Арзамас, прихожу в свое Реальное училище и сажусь на свое старое место. И вот я чувствую себя одиноким, окруженным вежливой враждебностью и холодком. Особенно запоминается черная доска. Я стою в военной форме 1923 года (остальные одеты просто). Преподаватель спрашивает со скрытой иронией: «Вы что же? Или совсем не знаете, или позабыли?» «И позабыл, и не знаю!» - злобно кричу я и, звякая шпорами, под ехидные смешки выбегаю за дверь. За дверью пусто [Литовская].*

Сон по схеме 2. *Я приезжаю в отпуск. Встречают со сдержанным удивлением. В это время разворачиваются какие-то события. Чаще всего назревает антисоветское восстание... Всевозможные группировки и комбинации, но я никак не могу найти своего места. Я теряю всякую ориентировку. И наконец в момент восстания остаюсь – в самой гуще – одиноким и изолированным. Я вынимаю маузер и стреляю. Оказывается, я стреляю по своим. Тогда – в дикой злобе на самого себя – я стреляю себе в голову. Огромный бледно-желтый огонь. Сильный удар. Острая мгновенная мысль: «Все кончено...» [Литовская].*

В снах-схемах нивелируется граница между своими / чужими: чуждость героя, оборачивающаяся впоследствии враждебностью миру, в первом сне репрезентируется военной формой, во втором – оружием. Разрешение проблемы возможно лишь посредством бегства или убийства. Выстрел в голову симптоматичен – это попытка избавиться от мыслей, дань безысходности (в отличие от выстрела в сердце, который можно трактовать как героическую смерть). Выход в «пустоту» и мысли «о конце» свидетельствуют о трагичности мироощущения. Герой сна боится сделать что-то не то, но в итоге это «не то» совершает.

О снах по схеме 3 остается только догадываться, так как о них Гайдар упоминает единственный раз в дневниковых записях: «14

октября. Отправил письмо Доре. Тревожные сны по схеме №3» [Гайдар 1982, с. 313]. Развернутый вариант сна-схемы №3 нам неизвестен, да и был ли он, также остается загадкой. Возможно, эта классификация стала шифром, который часто, с удовольствием использовал писатель. К снам-схемам 1 и 2 близок вариант «сна-сказки», который подробно пересказывается.

Видел замечательный сон-сказку. Будто бы я солдат не то какого-то полукаторжного батальона, не то еще кто-то. Потом – подарок волшебницы из сказочного дворца. Потом бегство на пароходе. Феерия и, наконец, пожар – я хватаю Тимура, а волшебница в гневе кричит: ан все-таки он тебе дороже, чем я. Потом опять другой океанский пароход. Гибель Тимура. И потом я – весь в огнях, в искрах – огни голубые, желтые, красные – тут мне и пришел конец [Литовская] В третьем сне неопределенным чужим / своим (полукаторжный батальон, волшебница) противопоставлен свой – сын, отношение к которому вызывает гнев чужого, а результатом, видимо, оказывается гибель обоих – отца и сына. В этом сне впервые появляется знаковая для текстов Гайдара ситуация – гибель ребенка, который становится жертвой.

Все три сна-схемы напоминают классификацию. Классификация близка коллекционированию, однако существуют некоторые отличия. Для коллекционера важна накопительная функция. Классификация – это попытка победить хаос, упорядочить мир и свои отношения с ним. Приоткрывая завесу сакрального, автору не избежать сокрытия формовки сна в схему, которая приводит к тому, что писатель становится заложником собственной классификации: *«Сплю плохо. Тревожные варианты старых снов. Надо работать, но я что-то растерялся»* [Гайдар 1982, с. 312]. Во снах Гайдара проживал свою предыдущую «первую» военную жизнь. Спектр снов: от видений в детстве до самоощущений в реальной жизни – предстает как хроника, воспоминание отдельного человека. В отличие от снов героев, где ярко представлен визуальный ряд, определена цветовая гамма, сны Гайдара отличает ситуативность сюжета в пространстве и вербальная символика. Среди слов-сигналов особенно часто упоминается качественное прилагательное (хороший), которое емко объединяет все дорогие, светлые понятия: дом, родину, семью. Эпитет «тревожные» представляется не менее важным. М.А. Литовская обращала пристальное внимание на это состояние: «тревога присутствует в произведениях А. Гайдара на самых разных уровнях: как материал для изображения, как тема, воплощающаяся в системе мотивов, как особая интонация... и так далее, вплоть, с одной стороны,

до философии тревоги...» [Литовская 2004, с. 317]. В качестве важнейших свойств, характеризующих мир, который писатель предлагает героям – состояние войны. В художественном мире писателя герои пребывают в постоянном напряжении, в маргинальном положении – между войной и миром. Условие мирного сосуществования – ощущение тревоги, сопровождаемое чувством ответственности и совестливости.

Тревожное состояние самого писателя обусловлено внешней неустроенностью: «*В сущности, у меня есть только – три пары белья, вещевой мешок, полевая сумка. Полушубок, папаха – и больше ничего и никого, ни дома, ни места, ни друзей ... Просто – как-то так выходит*» (выделено мной. – Л.П.) [Гайдар 1982, с. 292] и внутренним неприятием условий жизни: «А, в общем, жизнь у меня неустроенная и жгу я себя бестолково» [Гайдар 1982, с. 292]. А. Генис отмечал: «Бездомность еще не беззаботность. Его сложный наряд служит ему (в данном случае речь идет об американском жителе, однако описанные мытарства свойственны и Гайдару. – Л.П.) домом, который он как улитка, носит с собой – вместе с журнальным столиком, трюмо и половиком в прихожей. Это как скафандр водолаза – только профану кажется, что здесь много лишнего» [Генис 2003, с. 112]. Тема бездомности была ведущей и в текстах А. Гайдара: маленькие герои покидали свои дома, чтобы сбежать в Красную Армию (Димка и Жиган из «Р.В.С.») или помочь взрослым в построении нового светлого будущего пусть даже в рамках игры («Тимур и его команда»). Фактически ни в одном из текстов автора события не разворачиваются дома: надо следовать за Синие горы, к Дальним странам, за Хорошей Жизнью.

По замечанию А.И. Куляпина и О.А. Скубач, «спектр семантики снов сталинской эпохи – это протяженность между бессонницей и сном» [Куляпин, Скубач 2006, с. 60]. К этому, пожалуй, можно добавить, что у героев Гайдара данная протяженность заполнена тревогой. Так, например, Тимур из трилогии «Тимур и его команда» повторяет «Я стою. Я смотрю. Все ли спокойно. Все ли спокойны».

Исследователи онейрического пространства подмечали, что сновидения схожи с художественной литературой и кинофильмами. Особенно это характерно для текстов писателей 1930-х годов. Такие сны представлялись художественными аналогами пророческих сновидений, в которых содержалась зашифрованная от непосвященных информация. В дневнике Гайдара находим: «*Иногда, очень редко – бывают сны, которые надолго, на целые годы остаются в памяти, и волнуют – так же, как сразу при пробуждении. Как на экране – передо мною же –*

проходили мои же и их (сестер и Тимура. – Л.П.) *со всеми радостями, успехами, но главное со всеми ошибками... Странный сон – но, конечно, его никак не перескажешь. Странный, хороший и волнующий сон – но тревожный и с каким-то с «пророческим» намеком»* [Гайдар 1982, с. 285]. Сон оказался связан с литературным творчеством, с книгой, в которой нельзя было допустить ошибки. Литературные сны всегда являлись загадкой, разгадка которой находилась в руках автора. Впоследствии кинематограф позволил Гайдару не рассказывать о снах, а воплощать их на экране. Так появились киносценарии к «Военной тайне» и «Тимуру и его команде».

Сновидения героев, впрочем, как и сны самого автора, можно классифицировать исходя из набора тех слов, которые лейтмотивно обнаруживаются в снах: «романтические» (сказочно-сказовые), «тревожные» (сны-предчувствия, сны-пророчества).

• **Сон-предчувствие:** Геку во время путешествия снятся странные сны. Сон первый следующего содержания:

... И снится Геку странный сон:

Как будто ожил весь вагон,

Как будто слышны голоса

От колеса до колеса.

Бегут вагоны – длинный ряд –

И с паровозом говорят.

Первый. *Вперед, товарищ! Путь далек*

Перед тобой во мраке лег.

Второй. *Светите ярче, фонари,*

До самой утренней зари!

Третий. *Гори, огонь! Труби, гудок!*

Крутись, колеса, на Восток!

Четвертый. *Тогда закончим разговор,*

Когда домчим до Синих гор.

Странность этого сна объясняется оживанием «железного чуда». Человек, оказавшийся в самом сердце машины, сливается с нею. Особое место занимает скорый поезд: необычайно быстро летящий в эпоху социалистических преобразований, в тексте он становится символом времени. Ярko выражена сигнальная атрибутика: фонарь – огонь – гудок – колесо. Следует заметить, что предметы-сигналы в текстах Гайдара как нельзя лучше передают атмосферу военного времени и создают определенный настрой. Композиционно сон напоминает строевую песню, вариацию на тему: *«Наш паровоз вперед летит. В коммуне остановка. Другого нет у нас пути. В руках у нас – винтовка»*. Условный топоним

«Синие горы», до которого предстоит добраться, близок образу некоего «сказочного царства». Немаловажное значение имеет цвет – синий, символика которого многообразна, но в данном случае отсылает к «горным силам», семантике мечты.

• **Сон-метаморфоза.** Второй, «угрюмый» сон приснился Геку в маленькой, занесенной снегом избушке. Невеселому сну предшествовала нехорошая ситуация. Геку, который обычно спал с краю, почудился стук. Когда во тьме что-то заворчалось и закрипело, Гек понял, что мимо окна прошел медведь. Медведь – хищный зверь, олицетворяющий образ врага, которого нужно прогнать: *«Злобный медведь, что тебе надо? Мы так долго едем к папе, а ты хочешь нас сожрать, чтобы мы его никогда не увидели?.. Нет, уходи прочь, пока люди не убили тебя метким ружьем или острой саблей!»* [Гайдар 1980, с. 191]. Гек, как маленький боец, бросается на защиту. Ироничная ситуация создается за счет путаницы медведя с лошадей, которая ест сено. Придумывание героем мнимых препятствий и страхов вполне соответствовало духу советского времени. Официальная литература теперь вдалбливала детям, что иностранные шпионы могут находиться повсюду.

*Приснился Геку странный сон:
Как будто страшный Турворон
Плюет слюной, как киятком,
Грозит железным кулаком.
Кругом пожар! В снегу следы!
Идут солдатские ряды.
И волокут из дальних мест
Кривой фашистский флаг и крест.*

Имя Турворон отсылает к зооморфным реалиям. В мифологической традиции существуют представления о вороне как птице, находящейся между хищными и травоядными зверями. Нахождение на грани позволяет классифицировать Ворона как медиатора между жизнью и смертью. Кроме того, Ворон – хтоническое, демоническое существо, связанное со смертью и кровавой битвой. Турворон – это гиперболизированный образ врага. Железные конечности противника намекают на технического мутанта, победить которого сможет только командир железного бронепоезда, функции которого в рассказе возложены на Гека. Тема железа, варьирующаяся в литературе 1930-х годов (стоит вспомнить, например, «Как закалялась сталь» Н.А. Островского, «Повесть о настоящем человеке» Б.Н. Полевого), хорошо представлена в «Тимуре и его команде». Кстати, этимология имени Тимур восходит к тюркскому «железный». Семья Александровых – типичные представители своего

времени. Отец – командир железного бронепоезда, а старшая дочь Ольга собирается «учиться по железобетонной специальности», стать инженером, следуя веяниям моды. Ведет себя Ольга как «железная леди»: строго исполняет поручения отца («Когда папа уезжал, он мне велел...»), отвергает ухаживания Георгия («Цветов не надо! Я... и так, без цветов, с вами поеду»). Возможно, такое поведение можно объяснить стеснительностью, юным (18 лет) возрастом барышни и отсутствием опыта в обращении с мужчиной, который «с земли через железо бьет прямо в сердце».

• **Сон-разоблачение.** Часто сны передают внутренние ощущения героев и окружающую обстановку. А. Генис писал: «Обычно сны выполняют в искусстве практическую роль – они предсказывают развитие сюжета» [Генис 2003, с. 303]. Так произошло, например, в рассказе «Дальние страны»: «Тревога, смутная, неясная, все крепче и крепче охватывала Ваську, и шумливый, беспокойный лес, тот самый, которого почему-то так боялся Петька, показался вдруг и Ваське чужим и враждебным» [Гайдар 1979, с. 330]. Так как настроение у Васьки было тревожное, то и сон приходил новый, незнакомый. Тревога не возникает на пустом месте, и на этот раз сон героя оказался в руку: «Сначала между мутных облаков проплыл тяжелый и сам похожий на облако острозубый золотистый карась. Он плыл прямо к Васькиной ныретьке, но ныретька была такая маленькая, а карась такой большой, и Васька в испуге закричал: «Мальчишки!.. Мальчишки!.. Тащите скорее большую сеть, а то он порвет ныретьку и уйдет». – Хорошо, – сказали мальчишки, – мы сейчас притащим, но только раньше мы позвоним в большие колокола» [Гайдар 1979а, с.331]. И пока они громко звонили, за лесом над Алешиным поднялся столб огня и дыма. А все люди заговорили и закричали: «Пожар! Это пожар... Это очень сильный пожар!» [Гайдар 1979, с. 331]. Сон-предчувствие неожиданно повторился в реальности: пожара над Алешином не было, «там лежала темнота, из которой доносились глухие удары церковного колокола». Сон, приснившийся герою, тревожный, но и удачный одновременно. Это сон-разоблачение: ловля карася в дальнейшем обернется ловлей убийцы Егора Михайловича – Ермолая. Убийцу выдаст странная и бессмысленная песня, именно по ней Петька его опознает. Исполнение песни приравнялось к ритуальному действию. Устойчивое выражение «с песней по жизни» служило поддержанию боевого духа, приданию хорошего настроения. По песне четко определялась социальная принадлежность (оппозиция: свой / чужой). Для Гайдара и его героев хорошая песня – это солдатская, военная песня. С. Бойм отмечала: «Основная функция советской песни – магиче-

ская, обещающая претворить сказку в жизнь при помощи коллективного действия» [Бойм 2002, с. 135–137]. Песня Ермолая выдает исполнителя по наличию междометий и повторов, отсутствию мотива пути, который характерен для солдатских гайдаровских песен.

• **Сон-откровение.** В повести «Военная тайна» показательными представляются ночные разговоры малыша Альки и вожатой Натки. В этой беседе определяется место героя: он «советский» – это определение откровенно идеологическое. Принадлежность Советам одновременно культивировала «всеобщность» и одиночество. Ситуация взаимоотношений Альки с отцом перекликается с третьим сном-сказкой писателя. Однако если во сне отец спасает сына от злого мира волшебницы, то в повести малыш гибнет по вине отца. Двойником Альки в тексте выступает Мальчиш-Кибальчиш. Героическая смерть в сказке оборачивается случайной смертью ребенка наяву. Убийство Альки можно прочитать через обыгрывание «советского мифокомплекса об Эдипе». Когда малыш, выполнив свою миссию (сблизив Натку и Сергея), уничтожается системой, отец уезжает строить «прекрасное будущее».

Сны А. Гайдара и его персонажей – это мифологизированные и ритуализованные отпечатки советской действительности, в которых нет места отдыху и мечтам о чудесном будущем, – жить следует в «прекрасном» настоящем.

Литература

- Бойм С. Общие места. Мифология повседневной жизни. – М., 2002.
- Гайдар А. Собрание сочинений: В 4-х т. – М., 1979. – Т. 1.
- Гайдар А. Собрание сочинений: В 4-х т. – М., 1980. – Т. 2.
- Гайдар А. Собрание сочинений: В 4-х т. – М., 1982. – Т. 4.
- Генис А. Сочинения: В 3 т. Т. 1: Культурология. – Екатеринбург, 2003.
- Келли К. Маленькие граждане большой страны: интернационализм, дети и советская пропаганда // Новое литературное обозрение. – 2003. – № 60.
- Куляпин А.И., Скубач О.А. Мифы железного века: семиотика советской культуры 1920–1950-х гг. – Барнаул, 2006.
- Литовская М.А. Тревога как главная героиня прозы А. Гайдара // Поэтика. Стиль. Текст. – Екатеринбург, 2004.
- Литовская М.А. Преждевременные войны Аркадия Голикова // [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: <http://www.gaidar.ompu.ur.ru/index.php?main=scilitovskaya>.
- Мальком Н. Состояние сна. – М., 1993.
- Мифы народов мира: Энциклопедия в 2 т. / гл. ред. С.А.Топоров Т. 1: А–К (а); Т. 2: К–Я (б). – М., 1980.
- Мур Б., Файн Б. Словарь психологических терминов и понятий: [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: // <http://www.gumer.info/psihol>.

Нагорная Н.А. Онейросфера в русской прозе XX века: модернизм, постмодернизм. – Барнаул, 2003.

Руднев В. Сновидения // Руднев В.П. Энциклопедический словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. – М., 2003.

СИСТЕМА ПЕРСОНАЖЕЙ КАК ЗНАЧИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТРУКТУРЫ ПОВЕСТИ К. ПАУСТОВСКОГО «КАРА-БУГАЗ»

Д.В. Мызников

Эстафетный способ взаимодействия персонажей

Многие исследователи полагают, что текст «Кара-Бугаза» состоит из локальных, мало связанных друг с другом глав. Основание для этого обычно видят в сюжетной дробности и в отсутствии сквозных персонажей, что иногда порождает выводы о некоторой искусственности единства действия. Так, например С.Ф. Щелокова утверждает: «Здесь (в «Кара-Бугазе». – *Д.М.*) нет единой фабульной линии, ярко очерченного сюжета. Казалось бы, герои повести мало связаны между собой – одни бесследно исчезают, другие столь же внезапно появляются. <...> В «Кара-Бугазе», как и в предыдущих своих произведениях, Паустовский объединяет разрозненный материал внутренним сюжетом» [Щелокова 182, с. 105]. Замечу, что указанные особенности, несомненно, имеют место, но только с точки зрения классической структуры. В то же время есть основания думать, что главы связаны нетрадиционным способом. Полагаю, что единство текста «Кара-Бугаза» обеспечивается своеобразной системой отношений и взаимодействия персонажей. Система эта имеет свойства своеобразной эстафеты, когда ряд **значимых** персонажей особым образом связывается между собой и таким образом соединяет главы и обеспечивает единство сюжета и действия.

В первых трех главах прием эстафеты проявляет себя достаточно просто и дает представление только о главной и элементарной своей составляющей. Он действует по принципу нанизывания.

Первая глава – «Заблуждение лейтенанта Жеребцова» – начинается письмом Жеребцова к некоему адресату, фамилия которого становится известна обратным порядком – из второй главы. Это однокашник Жеребцова, имя которого мы узнаём лишь из третьей главы.

Вторая глава – «Мальчик с серебряным горлом» – знакомит читателя не с однокашником Жеребцова, к этому времени покойным, а с его сыном-подростком, имя которого при этом не сообщается, хотя

значимость его подчеркивается в самом названии главы – это мальчик с серебряной трубкой в горле. При этом во второй главе заканчивается история Жеребцова.

В главе третьей – «Черный остров» – возникает персонаж, которого легко идентифицировать – «человек с серебряным горлом» – Ремизов. Здесь же у него появляется имя – Николай. История Николая Ремизова на этой главе завершается и более нигде в тексте не появляется. Между тем он становится спасителем персонажа по фамилии Шацкий, своеобразные черты личности которого сопровождают весь дальнейший сюжет и оказывают значимое влияние на логику развития сюжета, идеологию и композицию повести.

Такого рода система персонажей-преемников позволяет говорить о ней как о специфическом композиционном приеме, который действует на протяжении **всего** текста. Кроме того, система преемников показывает основание метода, позволяющего свести к минимуму группу значимых персонажей, которые являются стержневым элементом структуры текста. Они не только позволяют понять еще одну конструктивную особенность повести, но и дают ключ к пониманию ее содержательных элементов. Такого рода организацию текста можно назвать эстафетной композицией.

Персонаж-доминанта

До сих пор удалось установить четырех значимых персонажей. В хронологической последовательности это Ремизов старший, лейтенант Жеребцов, Николай Ремизов и геолог Шацкий. Последнего следует выделить особо. Тому есть несколько причин.

Во-первых, истории геолога Шацкого посвящено две из десяти глав («Черный остров» и «Учитесь у водорослей»).

Во-вторых, глава «Черный остров» с точки зрения композиции представляет собой отдельное произведение, о чем говорит, например, Г.Д. Ахметова: «В сюжетном плане повествование в главе «Черный остров» разворачивается согласно законам художественного произведения» [Ахметова 1982, с. 118]. Кроме того, эта глава под названием «Кара-Ада» была выпущена отдельной книгой в год выхода текста «Кара-Бугаза» [Паустовский 1932].

В-третьих, Шацкий – единственный персонаж, который масштабно выходит за рамки повести и, почти в неизменном виде, появляется на тех страницах «Золотой розы» и «Повести о жизни», которые посвящены истории написания «Кара-Бугаза». Кроме того, за исключением исторических личностей, упоминаемых в «Кара-Бугазе», Шацкий –

единственный персонаж, чей прототип раскрыт автором. Этот прототип, а именно А.Д. Нацкий [Беляев 1996, с. 45] (под использованной в повести фамилией Шацкий), в деталях описывается в упомянутых «Золотой розе» и «Повести о жизни», что, в свою очередь, дает основание понимать творчество Паустовского как интертекст. Причем повсюду акцент делается на трех моментах, связанных с личностью Шацкого – связью с Каспием и заливом Кара-Бугаз, историей его злоключений у белых, но более всего на его психическом расстройстве.

В главе четвертой – «Дело вдовы Начар» – способ преемственности видоизменяется. Он основан уже не на непосредственном взаимодействии персонажей, как это было в прежних главах, а опосредованно. С точки зрения композиции эта глава, по сути, – смена декораций: момент появления Рассказчика и отправная точка описываемого им путешествия по направлению к Кара-Бугазу, маршрут которого изложен Рассказчику геологом Прокофьевым, который и есть следующий преемник и, как следствие, значимый персонаж.

Вот как изображается связь Шацкого и Прокофьева, посредником между которыми становится Рассказчик: *«Прокофьев долго махал с пристани выгоревшей до седины шляпой и кричал, чтобы в Махачкале я обязательно навестил геолога Шацкого»* [Паустовский 1967, с. 464].

Начиная со следующей главы система преемственности начинает усложняться и видоизменяться. Именная хронологическая преемственность приобретает черты преемственности идеологической в том смысле, что идея, высказанная одним персонажем, заимствуется другим, причем идеологическое заимствование имеет два плана – тематический и логический. Первый находит отражение преимущественно в монологах, а второй во вставных новеллах. Всё это оказывает воздействие на логику развития персонажей, отдельных сцен и всего действия. Основание для такого рода последствий дает Шацкий, которого по этой причине можно считать одной из доминант в системе персонажей.

Специфика мышления персонажа-доминанты как основание приема

Для того чтобы понять специфику Шацкого как персонажа и особенности его влияния на дальнейшее повествование, необходимо рассмотреть некоторые значимые элементы его истории.

Геолог Шацкий в начале 1920 года оказывается случайно вовлечен в одно из незначительных событий Гражданской войны. Он попадает в плен к белым, которые принимают его за большевика и несколько раз

выводят на расстрел. Волею случая он остается жив, но при подходе войск красных к Красноводску он, вместе с прочими пленниками, становится жертвой идеологической мести белых, которые вывозят группу людей на остров Кара-Ада близ Кара-Бугаза и оставляют их без воды и пищи на верную смерть. Несмотря на смерть многочисленных товарищей по несчастью, Шацкий вновь остается жив, но сходит с ума. Группу оставшихся в живых спасает метеоролог Ремизов, который и становится первым свидетелем его сумасшествия:

«На третью ночь Шацкий разбудил Ремизова и сказал ему, волнуясь: – Все, что я сейчас расскажу, держите в величайшем секрете. Я сделал гениальное открытие, но его нельзя огласить, иначе все человечество будет уничтожено величайшей мировой катастрофой. Я геолог. Я пришел к выводу, что в геологических пластах сконцентрирована не только чудовищная энергия, носящая материальный характер, но и психическая энергия тех диких эпох, когда создавались эти пласты. <...> Мы нашли способы развязывать материальную энергию – нефть, уголь, сланцы, руду. <...>. Но у нас не было способа развязать психическую энергию, сжатую в этих пластах. Этот способ открыт американцами. Они ненавидят нас, они хотят стереть с лица земли Советское государство. Они готовятся выпустить психическую энергию пластов, лежащих под нами. Больше всего ее в известняках и фосфоритах. Фосфориты – это спрессованная злая воля, это сумеречный первобытный мозг, это звериная злоба. Чтобы спастись, надо применить дегазацию. Против известняков мы выпустим молодую мощную энергию аллювиальных напластований. <...> Необходимо оцепить кордоном все местности, где есть выходы известняков и фосфоритов. Иначе мы погибнем всюду, даже в таких укромных углах, как Кара-Бугаз» [Паустовский 1967, с. 442–443].

Этот фрагмент показывает идейную основу сумасшествия Шацкого. Значимые понятия здесь – два вида энергии земных недр, материальная и психическая и связь между ними, а также воля человеческого интеллекта, имеющая политический подтекст. В свою очередь, психическая энергия подразделяется на, условно говоря, темную и светлую или, на языке Шацкого, «старую» и «молодую». В соответствии с этим человеческая воля также подразделяется на «темную» (американцы) и «светлую» (Советское государство).

Если в главе «Черный остров» характеризуется перелом в сознании Шацкого – психическое здоровье переходит в сумасшествие, то глава «Учитесь у водорослей» дает представление об эволюции его сумасшествия, свидетелем чему становится Рассказчик.

Особенность сумасшествия Шацкого характеризует Прокофьев: *«Прокофьев предупреждал меня, что Шацкий совершенно выздоровел, но до сих пор врачи не разрешают ему участвовать в геологических экспедициях. Сильная усталость или возбуждение вызывают у него возврат прежних бредовых мыслей»* [Паустовский 1967, с. 469].

Далее происходит встреча Рассказчика с Шацким:

«Я сказал Шацкому, что меня интересует вопрос о Кара-Бугазе.

– <...> Кара-Бугаз меня тоже очень интересует, но не так, как вас. Меня он интересует как место, где удобнее всего провести опыты по завоеванию новых форм энергии. <...> В Кара-Бугазе надо построить химический комбинат. Без мощного источника энергии его не построить. Прокофьев ищет газы, другие ищут по соседству с Кара-Бугазом уголь и нефть. Все это прекрасно, но забыли о главном: забыли, что Кара-Бугаз сам по себе является неисчерпаемым и неистощимым источником новой энергии.

– Какой?

– Солнечной!» [Паустовский 1967, с. 469–470].

Этот фрагмент не дает понимания сумасшествия Шацкого, а отражает только своеобразие его идеи. Сумасшествие определяется далее.

В следующем монологе он говорит о возможности применения солнечной энергии и противопоставляет ее энергии углеводородов, запасы которых ограничены. Мысль Шацкого о конечности известных источников энергии постепенно переходит в плоскость политэкономическую, за которой начинается бред:

«Капиталистический мир неумело и слишком неповоротливо ищет новые источники энергии. Бензин заменяют спиртом. “Сухой закон” в Америке выдумали не для того, чтобы отучить страну от пьянства, а для того, чтобы весь спирт пустить на горючее. Там автомобили заправляют вместо бензина ромовым спиртом с Ямайки» (выделено мною. – Д.М.) [Паустовский 1967, с. 470–471].

Грань перехода реальности в бред столь незаметна, что попутчик Рассказчика Красногорский его не замечает:

– Интересно! – шепнул мне Красногорский.

В глазах его я уловил блеск законной гордости. Он, казалось, хотел сказать: “Смотрите, какие замечательные люди живут у нас в Дагестане!” [Паустовский 1967, с. 471].

Значимость этой незаметной подмены Шацким реальности на бред и, в сущности, неразделимости их дополнительно иллюстрирует фрагмент, посвященный Шацкому в «Повести о жизни». Его последовательность такова. Автор и Шацкий гуляют недалеко от города Ливны, и

им встречается молоденький солдат из Заонежья. Между ними завязывается разговор:

– Я <...> Касьян из Заонежья. Может, слышали?

– Слышали. Гранитная страна! – сказал Алексей Дмитриевич (Шацкий. – Д.М.).

– Вот-вот! Граниту у нас много. И озер. Да не в этом наша сила [Паустовский 1968, с. 486].

Далее солдат рассказывает о плотником мастерстве своих земляков, после чего в разговор немотивированно вступает Шацкий: «*Девон источает яд, – строго сказал Алексей Дмитриевич, – а граниты, гнейсы и все эти крупнозернистые магмовые породы выдыхают силу, зоркость, упорство. В этом вся соль*» [Паустовский 1968, с. 487]. В этой двусмысленной реплике Шацкого, пересыпанной специальной лексикой, Касьян улавливает только самое главное: «*Народ у нас действительно зоркий <...>. Поэтому наших больше берут во флот, в мореплавание*» [Паустовский 1968, с. 487]. Ответ Касьяна как будто подтверждает правильность мыслей Шацкого, однако сам разговор о «ядовитом девоне» и свойствах других горных пород указывает на отклонение от здоровой логики. Реакция же Касьяна говорит о том, что он не осознает странностей в словах Шацкого, кроме того, не замечает задержки реакции. Все это для него – элементы диалога.

Глава «Учитесь у водорослей» заканчивается следующим образом: «*Когда мы вернулись, жена Шацкого тихо спросила меня, не болтал ли он чепухи*» [Паустовский 1967, с. 473]. Под «чепухой», безусловно, разумеется его бред. Однако бредить он начинает еще в ее присутствии. Очевидно, в ее глазах бред Шацкого является тематическим, поскольку фрагмент его речи о ямайском роме, которым заправляют машины в Америке, она пропускает мимо ушей. Объяснение этому то же, что и в показанной выше сцене с Красногорским и Касьяном из «Книги Скитаний».

Бред Шацкого закамуфлирован для окружающих. Камуфляж этот заключается в безупречных силлогизмах, которые не воспринимаются слушателями по причине невежества. Иными словами, несведущий персонаж воспринимает сказанное Шацким за чистую монету. Среди прочего это показывает специфику интриги: следование Шацкому идет по линии заблуждения.

Итак, характеристики мышления Шацкого обуславливают дальнейшее установление персонажей-преемников, среди которых он становится отправной точкой и вершиной иерархии. Шацкий дает основания для усложнения преемственности. К именной и хронологической ее

составляющим добавляется идеологическая сторона, которая развивается в двух планах – **тематическом** и **логическом**. Первый связан с содержанием его бреда. Он порождает таких персонажей, как Прокофьев и Давыдов. Второй связан со специфической особенностью сознания Шацкого, где пограничным моментом здравого мышления и реальности становится усталость, за которой начинается логически безупречный бред. Логический план определяет различного рода противоречия, главным из которых является немотивированное изменение темы изложения. Наиболее полно логический план развития идеологии проявляет себя в персонаже по имени Бекмет, которому посвящена отдельная глава.

*

Итак, выделенная группа значимых персонажей закрепляет первоначальные выводы об эстафетной композиции, основанной на именной хронологической преемственности. Композиция такого рода линейна. Она играет роль стержня, который пронизывает и скрепляет всё текстовое поле повести. Усложнение эстафетной композиции идеологическими элементами, в основании которых стоит своеобразие одного персонажа (Шацкого), формирует особого рода механизм, который генерирует персонажей и объединяет их в группировки, а также выстраивает логику действия и логику восприятия текста. В этом и заключается специфика особого приёма, основная цель которого есть вовлечение читателя в действие таким образом, чтобы его пониманию предстали не воображаемые, основанные на случае и совпадениях связи, но проистекающие из логики. Таким образом, автор даёт возможность воспринимать всю сумму внутренних явных и скрытых смыслов, не покидая пределов текста повести. В то же время особенность одного из центральных персонажей «Кара-Бугаза» – Шацкого – обеспечивает интертекстуальные связи в объеме творческого наследия К.Г. Паустовского.

Литература

- Ахметова Г.Д. К вопросу о речевой структуре повествования в «Кара-Бугазе» К. Паустовского: на материале главы «Черный остров» // Стилистика художественной литературы. – М., 1982.
- Беляев Ю. Автографы Паустовского // Мир Паустовского, №9–10, 1996.
- Паустовский К.Г. «Кара-Ада». – М., 1932.
- Паустовский К.Г. Собрание сочинений в 8 т. – М., 1967. – Т. 1.
- Паустовский К.Г. Собрание сочинений в 8 т. – М., 1968. – Т. 5.
- Щелокова С.Ф. К. Паустовский – романтик и реалист: Идеино-художественные искания 20–30 гг. – Киев, 1982.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОПОНИМИКИ МОНГОЛЬСКОГО И ЮЖНОГО АЛТАЯ В ИСТОРИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

К.Б. Самтакова

Значение документальных свидетельств при интерпретации топонимов исключительно велико. Нельзя выдавать возможную историю слова исходя лишь из современных лингвистических представлений и игнорировать историко-географические данные. От того, как и когда был зафиксирован тот или иной топоним в письменных источниках, очень многое зависит как в плане определения этимологии, так и в плане установления принципов номинации.

Топонимия интересующих нас приграничных Кош-Агачского и Улаганского районов практически не зафиксирована в архивных и других письменных источниках ранее XVII-XVIII вв.

В 1911 году Томским губернским статистическим комитетом был опубликован список населенных мест Томской губернии (так назывался в то время округ, куда входила и территория Республики Алтай, в котором из населенных пунктов двух упомянутых районов отражены только ст. Чибит, Усть-Башкаус и ст. Кош-Агач [Список...1911].

На картах Южной Сибири, составленных многими географами, упоминаются лишь главные реки и горные хребты Алтая: Телецкое озеро, река Катунь, гора Белуха и некоторые оронимы. Более подробные карты и геодезические описания появляются с конца XIX века и начала XX века. в исследовательских работах русских путешественников, географов и ученых.

Большая работа по геодезическому описанию границ земельных наделов была проведена 6-ой землеустроительной партией Алтайского округа в 1906–1912 годах. Ценность данных геодезических описаний и карт в том, что они детально производят многие названия рек, логов, ключей и гор по пути следования границ того или иного урочища в том состоянии, в котором они находились на момент описания. На современных картах есть большинство из этих названий, но некоторые из них найти и установить не удалось из-за того, что они неправильно написаны, кроме того, эти описи земель велись от руки и в силу этого в некоторых случаях просто невозможно разобрать, что написано [Дело-5, №109].

Очень подробным и ценным источником по топонимике являются работы исследователя В.В. Сапожникова «Пути по Русскому Алтаю»

(1926 г.) и «По Монгольскому Алтаю» (1947 г.). В них содержится большое количество географических названий Алтая. Основной целью учебного было изучение ледников Алтая, Монголии и Средней Азии, но его скрупулезные и живые описания рек и гор с обязательным упоминанием названий этих объектов являются важным подспорьем для изучения топонимики. Привлекают внимание карты, изданные в качестве приложения к упомянутым работам. Одна из них - карта истоков рек Иртыша и Кобдо была составлена его учеником и последователем В.В. Обручевым на основании оригинальной съемки, сделанной самим ученым в результате нескольких экспедиций по Южной Сибири. В данной карте географические названия запечатлены так, как их произносили местные жители в тот период.

В работе «По Монгольскому Алтаю» (1947 г.) собрано и проанализировано большое количество географических названий. Языковое многообразие топонимов на этой карте свидетельствует о том, что истоки этих рек были заселены разными народностями. В своих работах В.В. Сапожников часто описывает свои встречи с жителями, называя их то калмыками (так называли в дореволюционной России алтайцев), то урянхайцами, то киргизами (казахами), то монголами. Поэтому неудивительно, что притоки одной реки имеют и монгольские и тюркские названия. Исследователь часто помечает, что один и тот же географический объект в Монгольском Алтае имеет несколько названий, например, река *Теректу* ('с тополями'), приток реки *Буянту* параллельно имеет другое название, уже монгольское *Улясутай* ('тополь'). Таких параллелей на карте истоков Иртыша и Кобдо можно привести много: монг. р. *Цаган гол* 'белая река' (исток р. *Урунгу*) – тюрк. р. *Ак су* 'белая река'; монг. р. *Канцхен моту* 'одинокое дерево' (приток р. *Кара-Иртыс*) – тюрк. р. *Джангыз агач* 'единственное (одинокое) дерево'; тюрк. р. *Кара суу* 'черная река' – монг. р. *Хара булак* 'черная река'; монг. *перевал Уландабда* 'красный перевал' (*Сайлюгемский хребет*) – тюрк. *пер. Кызылкезень* 'красный перевал'; монг. *оз. Бери-нур* (вероятно, боро-нур) 'серое озеро', бассейн р. *Боро-бургазы* – тюрк. *оз. Бзау-куль*, др.тюрк. *воз* 'серый' [ДТС с, 115] переосмыслен местным населением, вероятно казахским, в бзау 'теленек', но существующая в монгольском языке параллель данного гидронима с боро 'серый' убеждает в том, что это название не связано с теленком, а интерпретируется как 'серое озеро'; монг. р. *Хусты* 'березовая' – тюрк. р. *Каинду* 'березовая'.

Обращает на себя внимание еще один примечательный факт – наличие большого количества похожих названий на современных картах

Республики Алтай и на картах Монгольского Алтая, составленных исследователем. Дело в том, что на современных картах истоков рек Черного Иртыша и Кобдо, которые сейчас принадлежат Китаю и Монголии, большинство географических названий, упомянутых ученым, отсутствует. Из 206 топонимов, зафиксированных на карте «Монгольский Алтай в истоках Иртыша и Кобдо» 1905–1909 гг. профессора В.В. Сапожникова, четвертую часть можно найти на картах республики Алтай, составленных в 1998–2006 гг. Такое количество идентичных названий не может быть случайным совпадением. Приведем список топонимов, отраженных на картах В.В. Сапожникова и В.В. Обручева с параллелями из современных карт Республики Алтай:

Карта В.В. Сапожникова: Монгольский Алтай в истоках Иртыша и Кобдо 1905–1909 гг.	Современная карта Республики Алтай:
р. Канас	р. Канас (бассейн реки Ак-Алаха)
р. Сегистей	р., ур. Себистей (Южно-Чуйский хр.)
р. Кулагаш	р. Кулагаш (л.п. р. Аргут, л.п. р. Большая теректа)
г. Тошунту	г., р. Тошонты (исток р. Чуя)
р. Боро-бургазы	р. Боро-бургазы (п.п.р. Юстыт)
р. Кульджа	р. Кальджин (л.п. р. Ак-Алаха)
р., оз. Тусто-нур	р. Тус-кбль (л.п. р. Башкаус)
р. Цаган-бургаз	р. Чаган-Бургазы (л.п. р. Чуя)
р. Йолты	р. Йолду (п.п. р. Башкаус)
пер., р. Калгутан	р., г. Калгуты (п.п. р. Ак-Алаха)
г. Кассы-хамр	ур. Кусту-Камыр (бассейн реки Чиндагатуй, н.п. Джазатор)
р. Мангдайча	ур, р. Мандайчы (бассейн р. Тархата)
р. асатыр	р. Тархата)
р. Б.Чуй	р. Джазатор (исток р.Аргут)
р. Сайлюкем	р. Чуя (п.п. р. Катунь)
р. Цаган-усу	р., г. Сайлюгем (бассейн р. Аргут)
р., плато Елангаш	р. Чаган узун (л.п. р. Чуя)
гряда Нарын нор	р., ур. Елангаш (л.п. р. Чуя)
гряда Мошко	оз. Нарын кбль (п.п. р. Тархата)
(все названия приведены, так как они отражены на карте)	р. ледник Мажей (л.п. р. Чуя)

Большое количество географических названий с компонентами *мукур* 'короткий лог', *булак* 'река', *гол, кол* 'река', *тасту* 'с камнями', *музды* 'ледяной', *бельтир* 'слияние рек, пересечение', *корум* 'курган' и *нур* 'озеро' присутствуют на тех и других картах. Идентичность этих топонимов прослеживается не только во внешнем облике, но и в какой то мере в принципах номинации. «Основными признаками, избранными алтайцами для наименования гор, являются признаки, определяющиеся природными окружающими условиями, фауной, флорой гор, цветовыми впечатлениями, различными качественными особенностями, характеризующими горы, а также соседним рельефом земной поверхности и в том числе озерами, реками, протоками и т.д., реже встречаются названия гор, связанные с наименованием людей, их коллективов (племен, родов) и их свойств» [Баскаков 1974, с. 26].

Анализ идентичных топонимических параллелей в вышеуказанной таблице свидетельствует о соответствии признаков, лежащих в основе номинаций географических объектов. Например, в названии *Себистей* 'жирная, полная, тучная сопка' [Молчанова 1979, с. 287] отразилась качественная особенность горы. Топонимы с *цаган* 'белый' построены на основе цветового признака. Форма рельефа принимается во внимание в следующих названиях: *Мангдайча* 'подобный лбу', *Кулагаиш* 'ушко', *Калгуты* 'с воротами' [Молчанова 1979, с. 200, с. 261].

В.В. Сапожников часто отмечает и сравнивает географические реалии «двух Алтаев»: «Река Цаган-гол мощным потоком выходит уже из ледника Потанина и потом подкрепляется справа потоками всех остальных меньших ледников. Таким образом, она обсаживает северо-восточный склон хребта на протяжении более 30 верст, подобно тому как Чеган-Узун отбирает воду от мощных ледников северного склона главной Чуйской гряды в Русском Алтае» [Сапожков 1949, с.276]. Гидроним Цаган-гол переводится с монгольского языка как 'белая река'. Так называются реки, которые берут начало с ледников. Река *Чаган узун* в Кош-Агачском районе является правым притоком реки Чуи, с ней ученый сравнивает реку *Цаган-гол*. *Чаган узун* – действительно ледниковая река и берет начало в Южно-Чуйский белках. У истоков река называется *Талдура*, затем в нее вливаются слева ледниковые речки *Джелла* и *Кускунур*, берущие начало с Северо-Чуйских хребтов. Справа в нее вливается речка *Чаган*, которая образуется слиянием ледниковых речушек *Аккол* и *Караюк*. С места слияния с рекой *Чаган* река называется *Чаган узун*. По ходу течения в нее впадает еще несколько маленьких ледниковых рек: *Дая*, *Имэле*, *Кызыл чин*, *Караайры*, *Талду тургун* и др.

Остается удивляться тому, как совпадали взгляды на номинацию географических объектов наших предков и тех народов, которые жили в то время у истоков рек Иртыша и Кобдо. «Иртышская сторона бросается в глаза прежде всего обилием хвойного леса, которые одевают склоны отрогов почти до их выхода в степь, альпийские луга и лесные прерии поражают своей сочностью, напоминая долины Катуньских белков в Русском Алтае. <...> высокие Кобдосские долины скоро делаются щепнистыми степями, где лишь отдельные кустики полувысохшей травы да более стойкие к сухости бобовые разнообразят монотонность пустыни, напоминающей Чуйскую степь» [Сапожников 1949, с. 469]. Приведенные сравнения ученого указывают на схожесть географических реалий «двух Алтаев», что было отмечено в первую очередь жителями, проживавшими здесь когда-то и отразившими эту идентичность одинаковыми наименованиями.

Таким образом, схожесть образа жизни полукочевых народов естественно отражалась и на образе мышления, что фиксировалось в свою очередь в географических названиях. В основе номинаций географических объектов и тех и других народностей лежат одинаковые признаки: формы рельефа, цветовые впечатления, качественные характеристики окружающего ландшафта, флора и фауна.

Но только ли в этом была причина большого количества похожих топонимов. Более точный ответ на этот вопрос получим, вероятно, из истории этих регионов, так как топонимика – это прежде всего языковая универсалия, отражающая исторические события. В процессе исторического формирования и становления любой топонимической системы можно наблюдать взаимопроникновение и сосуществование генетически разнородных этнолингвистических наслоений, составляющих ядро имевших место в прошлом языковых контактов. По поводу расселения территорий истоков реки Иртыш и Кобдо существуют разные точки зрения у историков. Казахский историк Г. Байназарова считает, что наследниками «Кёк тюрок» на Алтае в VII–VIII вв. стали тюркоязычные кимаки. Первое упоминание о государстве кимаков появляется в арабоязычных историко-географических сочинениях конца X – начала XI вв. Согласно сведениям «Худуд ал алам», кимаки жили в бассейне среднего Иртыша (сейчас он находится на территории Казахстана) [Байназарова 1994, с. 7]. Перечисляя 16 городов кимаков, Аль-Идриси на своей карте двенадцать из них вместе со столицей хакана помещает в бассейне Иртыша. Привлекают внимание сведения еще одного арабского летописца – Гардизи о почитании кимаками реки Иртыш: «Кимаки оказывают уважение

этой реке, почитают ее, поклоняются ей и говорят: «Река Иртыш – бог кимаков». Эта великая река получила свое имя от принцессы кимаков, которая, согласно легенде, разыскивая землю обетованную, при виде этой реки воскликнула: «Ер тус» – «Мужи, остановитесь, здесь – наша родина» [Байназарова 1994, с. 61]. Процесс самостоятельного культурного и социального развития кимаков был прерван военными действиями XI–XIII веков, особенно монгольским нашествием. Одна часть кимаков удержалась на своем древнем месте – Иртыше, другая в составе кыпчакских племен двинулась на запад. По мнению алтайского историка Ф.А. Сатлаева, кимацкий союз распался в конце X века. Одновременно кончает свое существование и сроткинская культура. Из нее выделяются кыпчаки, распространившие широко свои культурные традиции на территории Южной Сибири. Культура кыпчаков стала той основой, на которой развивалась вся последующая материальная культура народов Южной Сибири [1991, с. 73]. Известный алтайский историк Г.П. Самаев отмечает, что ареал обитания предков алтайского народа включает кроме Горного-Алтая степные районы Алтая, часть территории современных Новосибирской и Кемеровской области, рудный Алтай, вошедший в состав Восточно-Казахстанской области и верховья Черного Иртыша, отошедшие Китаю [1995, с. 5].

Идентичность тюркских и монгольских топонимов Монгольского Алтая с тюркско-монгольскими топонимами Южного Алтая подтверждает мнение историков. Алтайские племена, обитавшие в верховьях Черного Иртыша (сейчас он расположен на территории Китая) в силу разных исторических (джунгарская война) и природно-климатических причин были вынуждены оставить места своих поселений где-то в конце XVIII века. Тувинский историк Н.А. Сердобов по этому поводу пишет, что у алтайцев сохранились исторические предания о приходе в XVIII веке некоторых современных алтайских родов из страны «Буурыл Токой», которая находилась, по преданию, на Монгольском Алтае в междуречье Кобдо и Черного Иртыша [1971, с. 189].

Вероятно, не все племена оставили свои насиженные места, потому что В.В. Сапожников в своей работе «По Монгольскому Алтаю» несколько раз упоминает о своих встречах с калмыками (в скобках подписано – алтайцами). Алтайские племена, проживавшие в верховьях Иртыша, жили в тесном контакте с монгольскими племенами, переняв у них очень многое в бытовом обиходе и в языке.

Таким образом, можно предположить, что топонимы монгольского происхождения в основной своей массе были импортированы именно

этими племенами. По-видимому, они стали называть те или иные географические объекты по аналогии с теми объектами, поблизости которых они проживали в Монгольском Алтае. Отсюда схожесть не только самих топонимов, но и вышеупомянутых принципов номинации. По этому поводу надо отметить, что материальная культура у алтайцев схожа с монгольской. Русские люди, впервые познакомившись с алтайцами и не разобравшись как следует, приняли их за ветвь монгольского народа и стали звать калмыками. Большая сосредоточенность топонимов монголизмов в приграничных Кош-Агачском и Улаганском районах тоже говорит в пользу предположения о том, что они были принесены племенами, кочевавшими на обширных территориях как Монгольского Алтая, так и Русского Алтая. Следует отметить, что топонимы-монголизмы единично встречаются на всей территории Республики, что тоже вполне объяснимо. Алтайцы длительное время входили в состав империи Чингисхана, потом в состав Джунгарского ханства, и это может быть одной из основных причин наличия топонимов монгольского происхождения.

Литература

Архивные материалы 6-й землеустроительной партии Алтайского округа. Дело №5; папка №109.

Байназарова Г. Священная тюркская страна. – Алма-ата, 1994.

Басаков Н.А. Принципы выбора признаков для наименования гор у алтайцев. К проблеме оронимии Горного Алтая. – Москва, 1974.

Древнетюркский словарь. – Л., 1969.

Молчанова О.Т. Топонимический словарь Горного Алтая. – Горно-Алтайск, 1979.

Самаев Г.П. Горный Алтай в XVII – середине XIX в.: проблемы политической истории и присоединения к России. – Горно-Алтайск, 1991.

Сапожников В.В. По Монгольскому Алтаю. – Москва, 1949.

Сатлаев Ф.А. Горный Алтай в составе России. – Горно-Алтайск, 1991.

Сердобов Н.А. История Формирования тувинской нации. – Кызыл, 1971.

Список населенных мест Томской губернии на 1911. – Томск, 1911.

ФИЛОЛОГИЯ: ЛЮДИ, ФАКТЫ, СОБЫТИЯ

«Язык, литература и культура в региональном пространстве»: III Международная научно-практическая конференция, посвящённая памяти профессора И.А. Воробьёвой (Барнаул, 4–5 октября 2007 г.)

4–5 октября 2007 г. в Алтайском государственном университете прошла III Международная научно-практическая конференция «Язык, литература и культура в региональном пространстве», посвящённая памяти доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ Иды Александровны Воробьёвой.

И.А. Воробьёва родилась 30 октября 1929 г. в с. Красное Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области. В 1953 г. она с отличием оканчивает Томский университет и становится его аспиранткой на кафедре русского языка, а с октября 1956 г. (после окончания аспирантуры) работает ассистентом этой же кафедры. В 1958 г. Ида Александровна успешно защищает кандидатскую диссертацию на тему «Развитие глагольной префиксации в русском языке (к истории приставки *в-*)». До августа 1973 г. вся трудовая и научная биография И.А. Воробьёвой связана с Томским государственным университетом. Здесь ею подготовлена докторская диссертация «Топонимическая система средней части бассейна реки Оби», которая продемонстрировала новую методику комплексного диалектолого-топонимического исследования языковой ситуации и положила начало планомерному системному изучению русской топонимии, углубила представление о языковой картине Сибири в связи с историей её заселения. Докторскую диссертацию И.А. Воробьёва защищает в 1973 г. в совете Института истории, филологии и философии СО АН СССР (г. Новосибирск), будучи уже заведующим кафедрой русского языка и литературы Алтайского университета.

Алтайский государственный университет был открыт в 1973 г., и с 30 августа этого года И.А. Воробьёва проводит большую работу по организации и становлению университетского филологического образования на Алтае. Параллельно с организацией учебного процесса определяются и научные направления. Тема «Диалекты и топонимия Алтая», разрабатываемая под руководством И.А. Воробьёвой, стала одной из приоритетных научных тем филологического факультета. По инициативе И.А. Воробьёвой и при её активном участии был составлен и издан 4-томный «Словарь русских говоров Алтая», авторскому коллективу которого в 1997 г. была присуждена краевая премия Демидовского фонда. В рамках проекта «В.М. Шукшин. Жизнь и творчество» И.А. Воробьёва создаёт «Словарь диалектизмов в произведениях В.М. Шукшина», вышедший посмертно (Барнаул, 2002).

И.А. Воробьёва – автор более ста научных публикаций. Научные доклады Иды Александровны были представлены на международных конгрессах в Со-

фии, Берлине, Лейпциге. Подробные рецензии на монографии учёного регулярно печатались в информационном ономастическом журнале г. Лейпцига.

За многолетний и добросовестный труд, за большой вклад в развитие научных исследований и подготовку высококвалифицированных специалистов для народного образования профессор И.А. Воробьёва награждена медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда», нагрудным знаком Министерства высшего и специального образования СССР «За отличные успехи в работе», за большой вклад в организацию науки и образования на Алтае в 1995 г. И.А. Воробьёва была удостоена почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

И.А. Воробьёва умерла 8 октября 1996 г. Память об Иде Александровне хранят её родные, коллеги и ученики. Лучшая память об ученом – продолжение региональных исследований в Алтайском государственном университете – главного дела жизни Иды Александровны Воробьёвой.

Конференция «Язык, литература и культура в региональном пространстве» стала традиционным событием в научной жизни филологического факультета Алтайского государственного университета. О своём участии в конференции заявили и прислали материалы для публикации 75 человек – исследователи из различных научных центров России (от Москвы до Владивостока), Украины (Симферополь), Латвии (Рига), Казахстана (Усть-Каменогорск).

В приветственном слове участникам конференции ректор АлтГУ профессор Ю.Ф. Кирюшин отметил большую роль И.А. Воробьёвой как одного из основателей Алтайского государственного университета.

На пленарном заседании было заслушано восемь докладов. В выступлении заместителя председателя оргкомитета конференции профессора Алтайского университета Л.И. Шелеповой были подведены итоги лексикографической работы ученых-филологов Алтайского государственного университета – создания словарей, среди которых «Словарь русских говоров Алтайя», «Словарь диалектизм в произведениях В.М. Шукшина», «Ойконимический словарь Алтайя», «Словарь местных географических терминов Алтайя», первый выпуск «Историко-этимологического словаря русских говоров Алтайя». Профессора Кемеровского университета Н.Д. Голев и Н.Б. Лебедева представили возможности нового источника изучения региональной лексики – поисковых систем Интернета. В докладе профессора Алтайского университета Л.М. Дмитриевой были проанализированы закономерности динамики ойконимической системы Алтайя в XIX–XX веках. Профессор Бурятского университета А.П. Майоров на материале рукописных памятников деловой письменности XVIII века Забайкалья рассмотрел динамику лексических пластов языка (диалектных, книжных, просторечных слов) в исторической перспективе. Профессор Кемеровского университета А.Н. Ростова обратилась к проблеме «бытового языковедения»: как носители сибирских диалектов рассуждают о своем языке, который становится объектом осмысления и познания. Доклад профессора Уральского университета М.Э. Рут касался вопроса о народной астрономии (названиях звезд и созвездий

в диалектах). Региональным аспектам литературного процесса (на материале творчества В.М. Шукшина и Г.Д. Гребенщикова) были посвящены доклады профессора С.М. Козловой и профессора О.Г. Левашовой (АлтГУ).

Во второй половине первого дня конференции состоялись секционные заседания, на которых обсуждались проблемы концептосферы, ценностной картины мира, культурных доминант, языковой личности, динамики языковых процессов, функционирования языковых средств в пространстве региона.

На следующий день конференции прошло второе пленарное заседание. Доклад доцента Кемеровского университета В.П. Васильева «Концептуально-языковая картина мира сибирских говоров в лексикографической проекции» отражал результаты работы над «Сибирским метеорологическим словарем». Доклад профессора Е.В. Лукашевич (АлтГУ) был посвящен описанию лингвокультурного типажа Алтайского государственного университета. Профессор Л.П. Дронова (ТГУ) в докладе «Региональное существование этноса (на материале истории древнерусской лексики модальности желания)» выстроила парадигмы рассмотрения модально-оценочной лексики древнерусского языка в этимологическом, ареально-историческом и историко-культурном аспектах. В докладе профессора А.И. Куляпина и доцента О.А. Скубач (АлтГУ) «Алтай советский в литературе 1940-х гг.» проанализирована мифопоэтика пространства Алтая в произведениях советских писателей. Профессор Н.В. Халина (АлтГУ) представила доклад «Художественная культура Алтая». В докладе профессора Т.В. Чернышовой (АлтГУ) «Вечный российский вопрос...» выявлен круг понятий, ассоциированных с концептом «вина» в региональном языковом сознании. Материалом доклада стали результаты письменного опроса жителей Алтайского края, касающегося трагических последствий террористического акта на Дубровке в октябре 2002 года.

Большинство докладов вызвало живой интерес у слушателей. Дискуссионной была центральная проблема конференции – вопрос о регионализме языковых, литературных и культурных процессов. Что есть региональное – местечковое или отражающее сущность национального самосознания? Необходимо ли сохранять, «сбергать» самобытность регионального, насколько оно жизнеспособно в условиях глобализации?

В рамках конференции состоялась презентация первого выпуска «Историко-этимологического словаря русских говоров Алтая» (Барнаул, 2007), подготовленного на кафедре общего и исторического языкознания Алтайского государственного университета под руководством и редакцией Л.И. Шелеповой при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) и Администрации Алтайского края. Осуществление данного проекта в полном объеме (планируется издать всего 10 выпусков) даст возможность воссоздать языковую историю одного из уникальных и малоизученных в лингвистическом отношении регионов Сибири.

В.А. Чеснокова, Л.И. Шелепова

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В.А. Каменева. Лингвокогнитивные средства выражения идеологической природы публицистического дискурса (на материале американской прессы): Монография. – Новокузнецк: Редакционно-издательский отдел КузГПА, 2006. – 236 с.

В настоящее время практическое значение многих лингвистических исследований содержит момент не вполне привычный для языковедов. Он отражает стремление лингвистов (равно как и представителей других гуманитарных наук) предложить свое знание как наиболее эффективное в освоении таких рентабельных сфер человеческой деятельности, как экономика и политика. В книге В.А. Каменевой речь идет именно о такой практике – об исследовании идеологической природы публицистического дискурса как одного из факторов организации социального порядка средствами лингвистики. В аналитической философии уже предпринимались попытки объяснить мир посредством объяснения языка. Многие из сказанного так и осталось в сфере теории, поскольку аналитика ограничивалась рассмотрением частных языковых фактов, часто локализованных в одном высказывании. Современная же языковая ситуация характеризуется тем, что принято называть «потоком информации», «информационным взрывом» и т.д. Первоочередной становится проблема обработки информации, экспертизы сверхбольшого массива данных. Если раньше проблема понимания ставилась как проблема «глубины прочтения текста», то сегодня не менее актуальна проблема «широты охвата» текстов. Речь идет, прежде всего, о публицистическом дискурсе, который в значительной степени носит стандартизованный характер.

Актуальность темы, предложенной автором, связана с изучением проблемы реализации властных механизмов в речи и языке, активно разрабатываемой зарубежными и отечественными исследователями. Приведенные в книге статистические данные свидетельствуют о том, что за период 2000–2006 гг. в центральной американской прессе было использовано более 21000 единиц идеологического характера, в которых, по мнению В.А. Каменевой, реализуется лингвистическая составляющая функционирования властных механизмов создания идеологического концепта.

Политически ангажированный текст наполнен символами. Эффективность его воздействия на читательскую аудиторию предопределяется тем, насколько эти символы созвучны массовому сознанию: автор текста должен уметь затронуть нужную струну в этом сознании; его высказывания должны укладываться во множество «внутренних миров» его адресатов, «потребителей» политического дискурса. Любой дискурс, по своему характеру направленный на внушение, учитывает систему взглядов потенциального интерпретатора с це-

люю модифицировать намерения, мнения, мотивировку действий аудитории. Эта цель, по мнению В.А. Каменевої, достигается путем использования в публицистическом дискурсе идеологем – слов и фраз, содержащих идеологически нагруженный компонент значения. Данное понятие является центральным в идейном содержании исследования и отражает его основную проблематику. При помощи идеологем осуществляется позиционирование оценки и статуса человека в обществе.

В.А. Каменева рассматривает когнитивную и лингвистическую природу идеологемы. С когнитивной точки зрения, она представляет собой единицу, формирующую концептуальные схемы, обуславливающие процесс восприятия и трактовки получаемой информации. С лингвистической точки зрения – идеологемами являются слова и фразы, служащие средством апелляции к той или иной идеологии.

В первом разделе книги «Языковое отражение идеологической основы процессов сохранения или изменения социального порядка» автор «вводит» идеологему в лингвокогнитивный контекст. Здесь представлена целостная концепция и соответствующий понятийно-терминологический аппарат описания данного феномена. Важными ее звеньями является вопрос об отношении идеологии и языка, о выявлении собственно лингвистического подхода при изучении идеологии, проблема определения оперативных единиц идеологии и их выражение средствами языка. Раскрывая структурное разнообразие языковых репрезентаций идеологем, автор подчеркивает, что все идеологемы служат средством формирования, воспроизводства и апелляции к той или иной идеологии и при этом могут быть условно поделены на идеологемы «традиции», идеологемы «новой формации» и полиреферентные идеологемы. Различительным признаком данных разновидностей является отношение к устойчивости и закреплённости социальных ценностей и коннотаций. В этом смысле идеологемы «традиции» актуализируют стереотипы «традиционной» идеологии с установленными и закреплёнными правами и обязанностями всех социальных групп общества и противопоставляются идеологемам «новой формации», выражающим идеи формирующейся идеологии. В лингвистическом аспекте данные репрезентанты еще не обладают социальной маркированностью и ценностной коннотацией. Полиреферентные идеологемы объединяют свойства тех и других идеологем, демонстрируя возможность устойчивой социальной репрезентации человека сразу по нескольким, уравнивающим друг друга параметрам.

Выявляя социальную маркированность идеологем, В.А. Каменева подчеркивает их динамическую природу, временной характер функционирования и подверженность изменениям даже стереотипных идеологем «традиции». В книге содержится множество примеров, подтверждающих действие механизмов, которые приводят к изменению социального статуса данных идеологем.

В плане методологии исследования значимым представляется и второй раздел книги «Идеология как основной фактор корректировки языковой и кон-

цептуальной картин мира», в котором В.А. Каменева ставит задачу рассмотрения концептуальной и языковой картин мира. Сложный характер их отношения раскрывается автором через понятие лингвоидеологического концепта. Введение данного понятия представляется важным сразу с нескольких точек зрения. Во-первых, разграничение семантических полей, входящих в когнитивное поле лингвоидеологического концепта «человек как социальный объект», позволяет выявить все параметры социальной категоризации, которые используются в идеологических технологиях для манипулирования и дискриминации. Во-вторых, постулируется нестабильный, изменяющийся характер данного ментального образования. В-третьих, ставится вопрос о механизмах и технологиях такого изменения.

Неоспоримую ценность имеют рассуждения автора о том, что основу данного концепта составляет оценка социальной действительности. Еще одним важным признаком лингвоидеологического концепта является его артефактность, обусловленная «создаваемостью» идеологических признаков как социальных объектов, опосредованно влияющих на образование и изменение социального статуса человека. Этим лингвоидеологический концепт отличается, по мнению В.А. Каменевой, от лингвокультурного концепта.

Большой интерес представляют те разделы исследования, в которых содержится комплексный анализ властных механизмов, реализующихся через идеологему на уровне языка и речи. В третьем разделе книги «Публицистический дискурс американских средств массовой информации» представлен анализ функционирования механизма численного доминирования идеологем в публицистическом дискурсе. Последовательное выделение всех параметров социальной категоризации человека и их рассмотрение на большом языковом и речевом материале позволили В.А. Каменевой сделать важные наблюдения о том, что доминирующие позиции в американском обществе сохраняет идеология привилегированной правящей группы. Из-за большого доступа к символическим средствам она определяет тот угол видения и интерпретации объектов социальной действительности, который обуславливает распределение социальных ролей в обществе.

Большинство исследователей сходятся во мнении, что цель идеологически ориентированного дискурса заключается в том, чтобы убедить адресата в чем-либо, вызвать в нем желание действовать. В диссертации разработка вопроса о функциональной природе идеологемы представлена как в теоретической, так и в практической плоскости – в самой методике анализа лингвистической реализации властных механизмов в рамках публицистического дискурса. Через анализ языковой репрезентации лингвоидеологического концепта В.А. Каменева раскрывает характер завуалированного идеологического воздействия, направленного на поддержание существующего распределения прав и обязанностей между социальными группами в обществе.

В четвертом, заключительном разделе книги представлены результаты масштабного исследования функциональной семантики идеологем, вы-

ражающих различные социальные группы в дискурсе американской прессы. Механизм контекстуальной корректировки, который находится здесь в центре внимания исследователя, раскрывается путем привлечения значительного по объему демонстративного материала. Для каждой группы репрезентант (гендерных, расовых, национальных и т.п.) автор выявляет ведущие функции и модели употребления слов. В.А. Каменева подробно описывает как те из них, в которых происходит активизация устоявшихся стереотипов и социальных установок по отношению к данной социальной категории людей, так и те, которые способствуют их изменению. Одним из важных результатов представленного здесь исследования является выявление контекстных доминант, которые позволяют проинтерпретировать социальную функцию идеологема, усилить или изменить ее ассоциативный и коннотативный потенциал.

Опираясь на результаты своего исследования, В.А. Каменева выявляет круг новых лексических образований, которые используются в качестве идеологема, и описывает контекстные условия, в которых происходит изменение коннотативных признаков уже сложившихся идеологем.

Важным итогом исследования является высокий уровень его прагматичности. Это ценный материал, который вызывает читальский интерес и может быть широко использован в преподавании в силу своей страноведческой специфики. Содержащиеся в книге глоссарии открывают путь к углубленному проникновению в англоамериканскую ментальную среду для лиц другой национальности.

В книге особое значение имеет точное определение исходной терминологии, особенно в случаях нагруженности термина разными смыслами, в пределах разных, а порой и одной лингвистической традиции. В.А. Каменева критически переосмысливает уже достаточно традиционные термины *идеологема* и *идеологический дискурс*, включает понятие концепта «человек как социальный объект» и обосновывает его лингвоидеологическую природу. Автор вводит новые термины: *идеологема «традиции»*, *идеологема «новой формации»*, *полиреферентная идеологема*, *механизм численного доминирования*, *механизм контекстуальной корректировки* и удачно применяет понятия контекстуальной доминанты при описании функциональной семантики идеологема. Все это свидетельствует о формировании нового подхода к понятию «идеологема» и о формировании нового направления в лингвокогнитивной исследовательской парадигме. Ценно также и то, что автор книги наметил и перспективы дальнейших исследований – в первую очередь для самого себя, но также и для тех, кто пойдет проторенными им путями.

М.Г. Шкуропацкая

ФИЛОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ

Называя журнал «Филология и человек», мы исходили из того, что тема, представленная в этом названии, составляет одно из важнейших направлений в развитии филологических наук на современном этапе их существования. Мы полагаем, что дальнейшее развитие исследований в области филологии, преподавание языка, литературы, журналистики и других дисциплин, тем более в период разработки новых государственных образовательных стандартов, необходимость совершенствования речевой и – шире – коммуникативной культуры общества требуют осмысления и обсуждения ситуации в нашей науке, повышения степени ее влияния в обществе. В связи с этим редакцией журнала была разработана и разослана ряду читателей анкета, содержащая следующие вопросы:

1. Известно, что ситуация в современной филологии оценивается далеко не однозначно: филология предстает то как «содружество... гуманитарных дисциплин... изучающих духовную культуру человечества через языковой и стилистический анализ письменных текстов» (С.С. Аверинцев), то как «брачный союз» литературоведения и языкознания (Ю.В. Рождественский) или как сугубо номинационное единство, существующее в наименовании одной из отраслей гуманитарных наук и одного из направлений (одной из специальностей) высшего профессионального образования... *Каково, на Ваш взгляд, значение углубляющегося антропоцентризма филологических наук для развития филологии? Как меняется (если меняется) статус и влияние филологии в системе наук? в обществе?*

2. *Какие события в мире языка и литературы наиболее значимы для освоения филологическими науками человека?*

3. На III Международном конгрессе исследователей русского языка «Русский язык: исторические судьбы и современность» (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, филологический факультет, 20–23 марта 2007 года) декан филологического факультета профессор М.Л. Ремнева с обеспокоенностью говорила об общем ухудшении речевой культуры. *В чем Вы видите роль филологических наук и образования в повышении речевой культуры российского общества? отдельного человека?*

4. *Какое место занимает проблема человека в Вашем научном творчестве?*

Редакция благодарит всех приславших ответы. Часть из них публикуется ниже. Поступающие ответы будут опубликованы в ближайших номерах журнала.

А.А. Чувакин

Ответы:

1. Как мне представляется, антропоцентризм – вовсе не привилегия филологии. Это веяние времени, которое отражается в самых разных отраслях знания:

философии, истории, экономике и т.д. Что же касается собственно филологии, то здесь явно наблюдается, с одной стороны, вытеснение имманентноцентрического подхода к языковым явлениям, а с другой – расширение границ лингвистики за счет мощной струи всякого рода социологических наслоений. Хорошо это или плохо? Такая постановка вопроса вообще неприемлема, ибо каждая последующая парадигма (в любой науке!) вытесняет предыдущую, а вслед за «тезой» и «антитезой» приходит «синтез». Так что впереди нас все равно ждет возврат к системоцентризму, но уже обогащенному достижениями антропоцентрических изысканий. Думаю, что аналогичные явления наблюдаются и в области литературоведения. И то и другое обогащает филологию.

2. «Раскрепощение» языка и литературы, то есть «рцензурирование» того и другого, дает возможность писать и говорить свободно. «Парадный наряд» сменен на «повседневную одежду», которая больше соответствует естественной, обыденной жизни человека и помогает глубже его понять.

3. Повысить речевую культуру российского общества в целом и отдельного человека в частности, как мне кажется, можно только одним способом: законодательно закрепить роль филологических наук и образования в качестве неперемennого условия для нормальной, безбедной, достойной жизни людей (имеется в виду повышение зарплаты работникам «культурного фронта», введение в качестве обязательных дисциплин в высшей школе независимо от профиля русского языка, риторики, литературы).

4. Основная часть моих исследований связана с психолингвистикой и когнитивной лингвистикой. И та и другая наука опирается на «человеческий фактор», являющийся неотъемлемой частью так называемой «проблемы человека».

Е.Б. Трофимова (Бийск)

1. Выдвижение проблемы положения человека внутри языка и текста в конце 1980-х годов придало филологии совершенно иной статус. Из относительно узкой области, оценивающей пассивное поведение человека как резервуара, в который вливаются некие ценности языков и текстов, филология превратилась в науку, изучающую изменение человеческих сообществ и отдельных личностей посредством того, как они образуют дискурсы и на их основании интерактивно взаимодействуют друг с другом. Это привело, с одной стороны, к некоему упрощению филологического знания в сравнении с вершинами структурно-семиотических исследований, с другой – сделало филологическое знание хлебом насущным для большинства людей, занятых в сфере коммуникации. Филология как теория и как технология коммуникации, несмотря на кажущуюся противоположность, выступают как сращенное единство, в принципе абсорбирующее самые разнообразные моменты любого гуманитарного знания.

2. За последние 50 лет наиболее важными событиями в мире языковой теории стали открытие перформатива, сделанное в середине 1950-х годов

Джоном Остином, а также теория коммуникативного события в изложении Т. ван Дейка. Влияние литературы на филологическую науку в этот период было явно слабее, нежели в начале XX века, когда открытия М. Пруста, Дж. Джойса, А. Белого обусловили совершенно иной – неклассический – статус художественного текста.

3. В последние годы филологическая наука в меньшей степени исследовала процессы речевой культуры, бросая основные силы на локальную борьбу с какими-то отдельными явлениями – канцеляризмами, иностранными заимствованиями, вулгарной лексикой и т.п. Вместе с тем, мне кажется, мы упустили главное: вымывание сложных грамматических конструкций, правильное произношение, выпадение целых лексических слоев у говорящей массы. Я сомневаюсь, что на сегодняшний день филологическая наука способна предложить эффективное лекарство от указанных недугов, но правильно диагностировать признаки болезни она обязана.

4. Проблема пребывания человека в языке и различных типах дискурса является главным пафосом моей деятельности в филологии. Остальные аспекты – политическое поведение человека, вопросы нравственности или эстетики – интересуют меня только как любителя.

Ю.В. Шатин (Новосибирск)

1. Мне кажется, антропоцентризм в филологии позволяет преодолеть предметные и методологические различия, противопоставлявшие гуманитарное знание естественному в науке XIX–XX вв. Человек как «мера всех вещей» является тем связующим звеном, которое соединяет разные области знания в единую научную картину мира. В то же время внимание к фактору личности обеспечивает наличие аксиологического аспекта, позволяет выстраивать шкалу значимости научного знания, не сведенную исключительно к утилитарности. С усилением антропоцентризма дальнейшее развитие филологии представляется следующим: дальнейшее расширение круга вопросов, входящих в сферу научных интересов, и развитие «пограничных» дисциплин, реализующих взаимодействие филологии и истории, культурологии, психологии, биологии, статистики и проч.

Изменение статуса филологии в системе наук определено названной выше тенденцией. В частности, обращение к практике лингвистического анализа (лингвистической экспертизы) и словесной игры становится достаточно популярным у специалистов разных профилей. А в связи с этим встает вопрос о «ликвидации филологической безграмотности», образцом которой демонстрирует академик А.Т. Фоменко, – во избежание некомпетентности и фальсификаций.

Влиятельность же филологии в современном российском обществе представляется недостаточно высокой по следующим причинам. Во-первых, ложно понятая свобода слова привела к резкому снижению уровня речевой культуры общества и требований, предъявляемых к печатному и звучащему слову. Во-

вторых, в обществе преобладает практический подход к науке, а польза филологического знания не является самоочевидной для многих (или признается полезность только отдельных дисциплин, например, изучения современных иностранных языков или лингвистической прагматики).

2. Открытие механизмов порождения и восприятия речи; составление словарей языка писателей.

3. Плачевное состояние речевой культуры – отражение состояния общей культуры общества, поэтому необходим системный подход и координация действий во всех сферах. Филологические науки (и шире – гуманитарные) в силу их принципиальной неизоллируемости создают ту образовательную среду, в которой разнородные факты рассматриваются во взаимосвязях и получают нормативную, этическую и эстетическую оценку, формируя таким образом не только интеллект, но и мораль и вкус, то есть полноценную личность.

4. Занимаясь изучением языка писателя (в моем случае – Игоря Северянина), исследователь обязан не просто констатировать лингвистические факты, отмеченные в его произведениях, а интерпретировать их в том числе и как отражение языковой личности автора, и как явление, вписанное в широкий контекст общественной жизни.

Е.Н. Матвеева (Благовещенск)

SUMMARY

E.V. Budaev, A.P. Chudinov. Genesis and Evolution of Linguistic Sovietology. The paper investigates the genesis and development of linguistic sovietology. The analysis of the researches carried out in the USA and the UK delineates three stages in the evolution of this trend. The first stage is bounded by the time interval stretching from the October Revolution to World War II. The peculiarities of this stage are linked to a simultaneous formation of political communication research against the background of the popularity of left ideology in the USA and the UK. The next stage covers the years of the Cold War, when the ideological struggle was especially tensed. Finally, the article surveys the period embracing perestroika and the break-up of the Soviet Union.

L.O. Butakova, N.J. Mironova. Author-Text-Recipient: Media-Text in Authors' Perception Aspect. Part I. The article deals with the problem of building the media-texts based on the author's conscious psycholinguistic model. The author's image being the text organizing center is formed by the main reflection way and presented in the media-text system. It may be investigated by the text perception way. The results of some associative and semantic experiments devoted to the text production and text perception are presented in the article.

E.N. Matveeva. Aesthetic Function of Graphic Means in Poetry (in Igor Severyanin's Lyric Poetry). This article presents the fragment of the dissertation research devoted to the systematic studying of communicatively conditioned aesthetic function of the word in poetry. Graphic means of expression are taken as the marks of aesthetic meaning of the word in Igor Severyanin's poetry.

O.A. Alimuradov. Cluster Reference Theory and Semantics of Names: Marginal Notes. The article deals with the semantics / reference characteristics of names in the context of the cluster reference theory. The author proposes some ideas specifying the cluster theory as well as the concept of the causal chain of communication.

A.A. Gradinarova. Impersonal Sentences: Reflection of National Mentality? The typological features of the language and the productivity of impersonal syntactic models in it are in direct and close relation to each other. In the present article this claim is illustrated with the facts from the Bulgarian language.

V.T. Plakhin. Modern Advertising and Socialist Realism: Being Brothers in Arms. Part II. The article is devoted to comparative analysis of advertising and official soviet literature. These two types of discourse are rather similar in their genesis. They are both based on external strategies variable as the functions of political or commercial needs.

N.I. Kleshnina. Poem «The Verbs» as Brodsky's Poetic Programme. The article considers Brodsky's poem «The Verbs» («Глаголы») as a literary programme and the author's poetic credo, written in the early period of his creative work. The poetic world of this poem is analysed within the literary tradition in the intertextual aspect as an original text by comparison with the art world of Pushkin's poems «The Prophet» («Пророк»), «The Memorial» («Памятник») and Mandelstam's poem «The Black Earth» («Чернозем»).

N.V. Panchenko. «Reference Power» in Compositional Structure of Belles-lettres Text (in Modern Fiction). The compositional structure of belles-lettres text is being built as text sings construction. Reference strategy of compositional structure makes subjective and situational construction. The subjective strategy changes the limits of the subject. The situational strategy sets up space and/or Time conditions of the subject or phenomenon.

N.M. Kindikova. Altai Ethnoses in Historical Context (Ethnocultural Aspect). The problems of the Altai ethnoses in the historical context are researched in the article. Tribal differences are noted in the language, folklore and literature. The problems of Altai Mountains toponymy as less studied are touched upon in this article.

I.V. Rogozina, O.V. Karnaukhova. Juvenile Media-Text: Psycholinguistic Aspect. The article formulates the problem of studying the juvenile media-text in the psycholinguistic aspect.

O.N. Getta. Human Being in Perlocutive Function of Newspaper Texts (Factual Influence in Russian and English Articles). The leading newspaper text function is the perlocutive function. This function is studied on the material of the Russian, American and English articles. We prove that the perlocutive function determines the content and language means. And even the choice and use of the factual information influence the reader.

M.A. Pyanzina. Substance of Discourse in «Tolstoy's Liberation». The author analyses Bunin's works from the point of the discourse. Special attention is paid to the substance of the discourse, its main descriptions. A biographical discourse amplifies in the discourse of works.

K.V. Klimov. Footwear and Rags: Clothing Symbolics in «Pedagogical Poem» by A.S. Makarenko. Comparing the system of clothing in the text and fashion tendencies corresponding to it reveals their correlation with historical processes. «Pedagogical poem» by A.S. Makarenko illustrated that such significant semiotic aspect of any culture as clothing, particularly uniform (or footwear) of former waifs in Gorky penal colony is historically determined. It may serve to express not only temporary empirical codes but the universal categories which are correlated with the exact historical fashion and the rules common to such fashion.

L.A. Pozdnyakova. Sleep and Dreams in A. Gaydar's Artistic Works. This article is devoted to the aspect of dreams of Gaydar myth poetics. The author of the article suggests the classification of dreams, investigating Gaydar's fiction and fairy, and also supposes that the dreams have a magic- psychoanalytic nature.

D.V. Myznikov. System of Characters as Significant Structural Element of K. Paustovsky's Story «Kara-Bugaz». In the article we consider some structural features of K. Paustovsky's story "Kara-Bugaz", taken from the system of characters' viewpoint. This system consistently supports the unity of the plot on chronological, thematic and logical levels.

K.B. Samtakova. Comparative Analysis of Mongolian Altai and Southern Toponymy in Historical Linguistic Aspect. Place names of the Republic Altai and the so called Mongolian Altai are compared in this article. On the bases of the map of the Mongolian Altai made by V.V. Sapozhnikov and V.V. Obrutchev at the end of the XIX century and modern maps of the Republic Altai we give a list of place names of the Mongolian Altai with their parallels from modern maps of the Republic Altai. Having analysed these identical geographical names we come to the conclusion that they were built using one and the same principles of nomination because they were made by one and the same altai tribes who lived in the upper reaches of the Irtysh. Those tribes were made leave their places according to different historical events.

НАШИ АВТОРЫ

АЛИМУРАДОВ,
Олег Алимурадович

– доктор филологических наук, профессор Пятигорского государственного лингвистического университета.
E-mail: alimuole@mail.ru

БУДАЕВ,
Эдуард Владимирович

– кандидат филологических наук, доцент Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии (г. Нижний Тагил).
E-mail: aedw@rambler.ru

БУТАКОВА,
Лариса Олеговна

– доктор филологических наук, профессор Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.
E-mail: larisabut@rambler.ru

ГЕТТА,
Ольга Николаевна

– преподаватель Камышинского технологического института Волгоградского государственного технического университета.
E-mail: ivale@yandex.ru

ГРАДИНАРОВА,
Алла Анатольевна

– кандидат филологических наук, доцент Софийского университета им. св. Климента Охридского (Болгария).
E-mail: algra@abv.bg

КАРНАУХОВА,
Ольга Владимировна

– преподаватель Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова (г. Барнаул).

КИНДИКОВА,
Нина Михайловна

– доктор филологических наук, профессор Горно-Алтайского государственного университета.
E-mail: ff@gasu.ru

КЛЕШНИНА,
Наталья Ивановна

– кандидат филологических наук, старший преподаватель Бийского педагогического государственного университета им. В.М. Шукшина.
E-mail: doroninan@rambler.ru

КЛИМОВ,
Константин Викторович

– магистрант Алтайского государственного университета (г. Барнаул).

МАТВЕЕВА,
Елена Николаевна

– старший преподаватель Благовещенского государственного педагогического университета.
E-mail: m-svetoch@rambler.ru

- МИРОНОВА,**
Наталья Юрьевна – аспирант Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.
- МЫЗНИКОВ,**
Дмитрий Викторович – аспирант Барнаульского государственного педагогического университета.
E-mail: philolog@list.ru
- ПАНЧЕНКО,**
Наталья Владимировна – кандидат филологических наук, доцент Алтайского государственного университета (г. Барнаул).
E-mail: panchenko@list.ru
- ПЛАХИН,**
Владимир Тимофеевич – кандидат исторических наук, доцент Алтайского государственного университета (г. Барнаул).
E-mail: zakaz66@yandex.ru
- ПОЗДНЯКОВА,**
Лидия Анатольевна – аспирант Барнаульского государственного педагогического университета.
E-mail: lidiyalidiya@mail.ru
- ПЬЯНЗИНА,**
Марина Анатольевна – аспирант Новосибирского государственного педагогического университета.
- РОГОЗИНА,**
Ирина Владимировна – доктор филологических наук, профессор Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова (г. Барнаул).
E-mail: irogozi@mail.ru
- САМТАКОВА,**
Кларисса Бинолдановна – аспирант Горно-Алтайского государственного университета.
E-mail: ff@gasu.ru
- ЧЕСНОКОВА,**
Валентина Алексеевна – кандидат филологических наук, доцент Алтайского государственного университета (г. Барнаул).
- ЧУДИНОВ,**
Анатолий Прокопьевич – доктор филологических наук, профессор Уральского государственного педагогического университета (г. Екатеринбург).
E-mail: ap_chudinov@mail.ru
- ШЕЛЕПОВА,**
Людмила Ивановна – доктор филологических наук, профессор Алтайского государственного университета (г. Барнаул).
E-mail: lshelepova@yandex.ru
- ШКУРОПАЦКАЯ,**
Марина Геннадьевна – доктор филологических наук, профессор Бийского педагогического государственного университета имени В.М. Шукшина.
E-mail: marina@mail.biysk.ru

Журнал распространяется по подписке.
Подписной индекс 36795
в каталоге «Газеты. Журналы» Агентства «Роспечать»

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связей и охраны культурного наследия. Свидетельство ПИ ФС 77-30179 от 02.11.2007 г.

Журнал включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (редакция июль 2007)».

Сдано в набор 3.12.2007. Подписано в печать 20.12.2007. Формат 60x84/16. Гарнитура Times New Roman. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 10. Тираж 500 экз. Заказ № .

Отпечатано в типографии «Графикс»:
г. Барнаул, ул. Крупской, 108

© Издательство Алтайского университета.
656049, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66.

Требования к оформлению присылаемых в редакцию материалов

1. Редакция журнала принимает статьи объемом от 0,5 до 0,75 авторского листа (20–30 тыс. знаков), научные сообщения – от 0,3 до 0,4 авторского листа (12–16 тыс. знаков), другие материалы – до 0,15 авторского листа (5,5–6 тыс. знаков).
2. Электронные материалы должны быть представлены в формате Word for Windows/Интервал точно 12 пт (полуторный); шрифт – Times New Roman, кегль 12. Для знаков, отсутствующих в шрифте Times New Roman (для транскрипции, иноязычных примеров и т.д.), используются стандартные распространенные шрифты (Symbol, Lucida Sans Unicode, SILDoulosIPA, SILDoulos IPA93). При использовании оригинальных шрифтов их файлы (формат *.ttf – True Type Font) необходимо выслать вместе со статьей приложением к электронному письму. Для создания схем, графиков, иллюстраций используются программы стандартного пакета Microsoft Office; графика должна быть внутри файла.
3. Примеры в тексте статьи оформляются курсивом.
4. Примечания к тексту оформляются в виде постраничных сносок и имеют сквозную нумерацию.
5. Библиографическое описание изданий оформляется в соответствии с действующим ГОСТом и приводится в конце работы по алфавиту. Источники на иностранных языках располагаются после источников на русском языке.
6. Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках, где указываются фамилия автора и год издания с обозначением цитируемых страниц. Например: [Виноградов 1963, с. 46]. Если в библиографии упоминается несколько работ одного и того же автора и года, то используется уточнение: [Горелов 1987а]. В списке литературы делается такая же пометка.
7. В конце текста статьи (научного сообщения) помещается Resume на английском языке (до 250 знаков).
8. Статьи следует направлять по адресу: 656049, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, Алтайский государственный университет, филологический факультет, ауд. 411-а, отв. секретарю журнала Панченко Наталье Владимировне. Почтовые отправления в обязательном порядке дублируются электронной почтой. Электронная версия отправляется вложенным файлом по адресу: sovet01@filo.asu.ru (В разделе «Тема» просим указать: «В редакцию журнала».) К статье прилагается справка об авторе или авторах (фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая степень, ученое звание, служебный и домашний адрес, номера телефонов, факс, электронная почта).
9. Статьи, оформленные в нарушение приведенных правил или плохо отредактированные, редакцией не рассматриваются.

Примечание: научные тексты, присылаемые аспирантами и соискателями ученой степени кандидата наук, должны отражать основные результаты исследования, соответствовать жанру научного сообщения и сопровождаться решением кафедры, на которой выполняется диссертационная работа (оформляется в виде выписки из протокола заседания кафедры), и отзывом научного руководителя с оценкой актуальности темы исследования, новизны полученных результатов, их теоретической и практической значимости и рекомендацией к печати в журнале «Филология и человек». Сопроводительные документы, скрепленные печатью учреждения, высылаются в адрес редакции обычным почтовым отправлением.